

ГЕННАДИЙ ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ

# ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН

*(Поседевшие молодые люди)*

Г. Озерцовский    ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН

Париж 1977



ГЕННАДИЙ ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ

# ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН

*(Поседевшие молодые люди)*

Париж 1977

Того же автора :

« *Червь земли* » (и малые рассказы). Повесть. 1970.

« *Россия малая* » том первый : « Русский блистательный Париж до войны ». 1973.

« *Россия малая* » том второй : « Война и после войны ». 1975.

« *Последние из могикан* » (« Поседевшие молодые люди »). 1977.

## ВВЕДЕНИЕ

Героями этой книги являются представители « второго поколения », — то есть лица родившиеся в России, « хлебнувшие » русского духа, который и отразился на их душе. Это еще настоящие русские.

Многие из них участвовали в « Белом движении » как младшие офицеры. (О! Сколько из них погибло!) Все они принадлежали к русской интеллигенции, патриотической ее части, настроенной в то же время « либерально », не даром большевики их звали « кадетами ». ( — Слово, образованное из : К и Д, — то есть партии конституционно-демократической). Эти « молодые люди », посевшие теперь, в свое время (в первом томе) образовали свои партии и свои группы. Они не ссорились со старшими, но тем не менее винили их, что те не могли « спасти Россию »...

Книга распадается на неравные части. Всё все-таки романсировано. Первая (В шато) — показывает этих « поседевших молодых людей » после войны (1939-45). Они радуются, как дети, что « победили ». Они радуются, как дети, что находятся вместе, в своей русской среде, где могут быть настоящими, в « Малой России ». И лишь в конце отпуска, когда надо возвращаться и становиться шофферами такси, рабочими, скрывать « интеллигентность », чтоб быть как сосед-француз : таксист или рабочий, — легкая грусть наполнила их... Надо притворяться.



## В ШАТО\*)

### Глава I

В эмигрантской газете появилось объявление : « Если хотите провести отпуск в шато в русской обстановке, — обильный стол, прогулки, — позвоните... » Дальше следовал номер телефона.

Лебедев разузнал насколько можно. Выяснил, что это семья бывшего губернатора Кашина занимает на лето шато и устраивает там пансион. Шато это принадлежит французскому виконту, который сам там не живет и предоставляет его бесплатно Кашиным, своим дальним родственникам или свойственникам. Шато красиво. Место хорошее, — напоминает центральную Россию... Но кормят там плохо... Есть еще у них, у Кашиных, две прекрасных охотничьих собаки и одну зовут Остапом. Цена порядочная.

Лебедев подумал и решил все же ехать, тем более, что туда собирались его друзья. Он позвонил и условился о свиданьи.

В этом году лето было жаркое. Термометр в тени показывал 36 градусов. Даже под вечер, когда Лебедев

---

\*) Действие происходит приблизительно в годах 1947-49. Для заглавия пришлось оставить слово « шато », т. к. русские понятия : замок (Château fort) и « барский дом », — не подходят.

с сыном Колей, мальчиком лет двенадцати, шел для переговоров, то асфальт был не очень тверд.

Позвонили. Открыла пожилая дама вида подчеркнута «благородного». Роста была высокого, сутулая, с глазами серыми, выпуклыми. Пригласила войти, попросила садиться и сама села на какое-то возвышающееся кресло. Около стоял на столике толстый стеклянный стакан (бывшая банка из-под варенья) с ватой, и дама во время разговора отщипывала вату и вытирала нос и шею. — Было жарко.

Разговор начался в стиле светском, — говорили ни о чем и были согласны. У Лебедева нашелся дальний общий родственник. Время от времени, но не портя стиля разговора, Лебедев вставлял практические вопросы о пансионе: о распорядке дня, о подробностях питания, о комнате, об освещении и услугах. — Утром, в 8.30-9 час., давали кофе с молоком, хлеб и масло; половина первого, по колоколу, обед; в четыре, — чай или молоко, в 19ч.30 ужин, а в 22-23 ч. — чай и «всякие там штуки». — Казалось, — все хорошо. — «Вы должны приносить свой сахар» (к этим «штукам»), добавила она неожиданно, так как сахар стоил дешево и его можно было купить сколько угодно. — «Кислое молоко там прекрасно!» — продолжала она...

Электричества не было, но были «лампы-молнии», за которыми специально следил муж «благородной дамы». Насчет же услуг, было отвечено: «Ну что вы, господа! (с легкой обидой). — Это уж вы сами!» — Лебедев только слегка улыбнулся, согласный.

— Мой сын очень интересуется Остапом, — сказал Лебедев, скрыв, по ложной стыдливости, что он сам интересуется не меньше.

— А! Вы о них знаете! — и в глазах Кашиной промелькнул огонек, — «Де, — а ведь это может быть преимуществом пансиона, я и не подумала!»

Она открыла дверь в другую комнату и крикнула: «Остап, viens ici!» Остап вошел. Это был очень большой сетер-гордон. Красавец! Он высоко, с достоин-

ством, держал свою прекрасную голову. Остановился на момент. Осмотрел присутствующих и выразил свое неудовольствие, точнее недоверие, низким отрывистым «брехом», раза три-четыре: — «Нужно быть осторожным с новыми людьми, лучше от них подальше!» (был смысл его лая).

— Перестань! — остановила его хозяйка. — Иди в свою комнату, раз ты так! — и к Лебедеву — Он вернется через минуту.

Остап ушел поваркивая. Задние ноги его были видимо слабоваты и костреч суховат, но все это было едва заметно и все искупалось общей красотой и величественностью фигуры, особенно головы и груди... И действительно через минуту Остап вернулся. Успокоился, пораздумал. Медленно, тихо вошел своей «тянущейся» походкой.

— Ты его можешь теперь погладить — сказала благородная дама сыну Лебедева Коле. И Коля, слегка взволнованный от неожиданного удовольствия, с улыбкой стал гладить большую голову. Но Остап все больше и больше ее отворачивал.

— Теперь довольно! — сказала дама, и Остап со вздохом лег. Линии его были грациозны и могучи в одно и то же время. Можно было наблюдать, что на Кашину он довольно мало обращал внимания и вел себя независимо.

— Это охотничья собака, лягавая, гордон. Чистой расы, — сказала хозяйка, видя, что Лебедев им любит. — Он был выписан из Шотландии щенком, принадлежит моему племяннику. Получил первый приз. Его фотографии были в журналах... и, — она замаялась, взглянув на Колю, продолжала, — а за визит его («свадебный») платили по десять тысяч, — при слове «визит» ее выпуклые старческие глаза оживились, то ли от хорошо найденного слова, то ли от скользкости темы. — У нас есть и другая собака, тоже сетер-гордон, Леда, но это «француженка», и тоже была премирована... Сейчас придет мой внук, ему одиннадцать



лет... Скажите, а ваш сын любит драться? — спросила она с подозрением, — видимо спасаясь за своего внука.

— Нет, он не драчлив, только если уж крайне необходимо, кроме того он не обижает более слабых...

— О, я своего внука держу в руках! Он меня слушается, это необходимо!

Раздался звук отпираемой двери и вошел мальчик, крупный, тяжеловатый, с маленькими глубоко сидящими глазами, с волосами, как щетина, торчащими на низком лбе. Голова его напоминала кабана. Бабушка заставила его проделать несколько примеров из цикла послушания соответствующим тоном: «Положи книги сюда! Закрой дверь! Садись сюда»..», которые он и выполнил вполне прилично. Наконец он сел и стал наблюдать, особенно Колю. Потом он встал, принес кошку и принялся ее устраивать на спине Остапа. Тот не обращал на это никакого внимания. Бабушка его остановила.

Лебедев условился о дне приезда, сказал сколько он намерен пробыть и распрощался, поцеловав ручку... Бабушка проводила его до двери, — никакой прислуги не было. Остап встал и проводил тоже.

\*\*  
\*

Поезд отходил в семь утра с вокзала Монпарнас и был совершенно переполнен. Только после Шартра места стали освобождаться. Лебедев был с друзьями, которые ехали туда же. И каково же было их удивление, когда в одном купе они увидели Кашину. Были и свободные места. Друг Лебедева рассыпался в любезностях. Лебедев же, который считал, что «светская часть отношений» теперь кончилась и они превратились в пансионеров, а она в хозяйку, — был скорее молчалив и держался в роли наблюдателя.

Кашина везла с собой двух пансионеров: даму очень некрасивую, со взглядом недоверчивым, носом красным, со щекой завязанной и девочку лет десяти

с ярко голубыми словно стеклянными, как у куклы, глазами.

Кашина говорила с самодовольством. Видно было, что это она «генерал-губернатор» в доме и что, во всех трудных случаях, — это она выручала семью (по ее словам!) и вела дела.

— Работал у меня маляр, — рассказывала она, — помогал мне ремонтировать квартиру. Я ему заплатила. Пиджак дала, еще хороший! А он на меня подал в Прюд'ом \*) Какова неблагодарность! — Председатель меня спрашивает: — Avez-vous une entreprise?

— Moi? — и она выразила на своем лице необычайное удивление и даже возмущение. (Как это? Благородная дама и какое-то предприятие!) J'ai voulu lui répondre que je tiens un b... Vous comprenez quelle sorte d'entreprise? И она вытаращила еще больше свои серые выпуклые глаза. На ее лице застыла улыбка. Мы, конечно, поняли о каком сорте предприятия она намекала и улыбнулись.

— Et le Président me dit: — Merci, madame, vous pouvez partir. Voilà tout!

и она осмотрела всех с видом победителя. Она говорила также об опасности коммунизма во Франции.

— Вы знаете, я поставила пять испанских виз на наши паспорта, это мне стоило сорок пять тысяч...

Наконец прибыли на нужную станцию. Муж благородной дамы и внук встречали. Ждало и такси (по предварительному заказу). Кашин и Лебедев с сыном поехали на своих велосипедах, отправив багаж в такси. Кашин был высокого роста, широкоплеч, хорошо сложен, в меру красив, видимо силен и удивительно хорошо сохранился. Он был мало разговорчив, верней не болтлив и имел слегка нахмуренный вид. Ехал на удивительно старом велосипеде и изредка, на спусках вытягивал ногу и подтормаживал о переднюю шину.

---

\*) «Прюд'ом — институт, специально установленный, для разбора несогласий между предпринимателем и рабочим.

Все его движения были просты и свободны, уверены. — Так мужик, надев на свою лошадь веревочную узду, набросив на спину мешок, и взваливаясь на нее каким-то ему свойственным особым способом — « без разделений », крикнув одновременно « но » — отправляется по своим делам, иногда понукая лошадь пятками. И лошадь, хвостатая, невзнузданная, с чёлкой на глазах и не думает сбросить этого бесстремянного седока. — И этот старый велосипед вел себя также.

Кашин и Лебедев мирно и дружелюбно разговаривали.

— Простите за нескромный вопрос, — сколько же вам лет, Алексей Петрович (Кашин) ?

— Мне, — семьдесят.

— Да ? Однако, как вы хорошо сохранились !

— И каждый день езжу в город за покупками, в два конца — четырнадцать километров.

— И без тормозов ?

— Ничего. Ногой торможу. Тут, по-настоящему круто лишь в одном месте...



Шато начала Ренессанса стояло на верхнем склоне холма в куртине деревьев и доминировало пейзаж. Сразу чувствовалось, что здесь жил когда-то « maître », « барон » (в общем значении). Нельзя даже перевести это слово, как « барин ». А кругом, ниже, словно пониженно, — домики, поля и деревьев мало.

Кованые ворота. Вдоль слепой стены, — аллея старых лип. Справа, — коренастые постройки фермы. Поражал двор. Это был особый, замкнутый, внутренний мир шато. Огромный. Ровный. Покрытый мелкой травкой. Он был врезан в бок каменистого холма и этот тесаный бок служил задней стеной высотой метров в двадцать. А на верху, как волосы гиганта, виднелись деревья. В той стене, в этот бок холма были врыты пещеры. В них была своя тюрьма и

массивные кольца в стене и цепи еще висели до сих пор. И если спереди шато поражало величием и красотой, то в этой темной пещерной тюрьме мы видели обратную сторону медали.

Были также пещеры: часовня, склады, конюшни, колодезь и т. д.

В углу двора стояла очень высокая четырехугольная и четырехэтажная башня, пострадавшая от молнии. Предназначалась она, вероятно, для стражи. Другие ворота, готические, как вход в католическую церковь, вели на простор полей. Эти ворота были остатком другого, когда-то бывшего здесь шато, от которого шел подземный ход, теперь забытый. Передняя часть усадьбы была окружена каменной стеной с полуразвалившимися башенками, а в них, как соты, — места для ядер.

Шато было классифицировано «внешне», как исторический памятник.

Во время войны Франции с Итальянским Союзом французские феодалы познакомились там с Ренессансом, стали вывозить мастеров и стали строить свои шато в новом стиле. Это шато было подарено Франциском I своей любовнице. В зале до сих пор висел портрет «роскошной» дамы в костюме баядерки с бандурой на коленях. Дама эта нюхала цветок магнолии. — Она? Выдал ли ее замуж Франциск I за какого-нибудь барона? Теперь портреты баронов были сосланы в бильярдную — позднее пристроенное крыло. И там, одеты в латы, мрачные и сильные, смотрели они из темного угла: Жан VI, барон де... Жан VII, барон де..., Шарль, маркиз... — этот в парике, хотя и в латах... И наконец, на видном месте — на свету — большой портрет во весь рост маркиза-лейтенанта с эспаньолкой и в красной форме. В руке у него белая перчатка, у ног — собачка; ни лат, ни мужественности.

Направляясь ко входной двери — со двора — Лебедев увидал двух собак: один был Остап, другая,

наверно, Леда. Она была меньше, толстовата, уши не так длинные и менее шерстисты. Рыжие отметины и подпалины были более светлого цвета, чем у Остапа. У того, они были густо рыжие. Морда ее была умна и хитровата, у Остапа главное впечатление — чувство собственного достоинства. Леда встретила Лебедева очень приветливо, понимая, вероятно, что это гость. Махала хвостом и протянула голову для ласки. Но Остап, хотя это было их второе свидание, держался сдержанно и когда Лебедев хотел его погладить, то он отклонил голову и отошел. Его чувства были ясны: «Что этот вновь пришедший, почти незнакомый, лезет в дружбу. Оставь меня в покое».

Кашин ввел Лебедева в переднюю. Напротив входа поднималась побелённая каменная лестница, как окоп, со сплошными боковыми стенками, и даже в начале с потолком. Она неуклюжим завитком уходила во второй этаж. В этой неуклюжести, массивности чувствовалась прочность, сила и своеобразная красота. Справа у входа стояла статуя Божией Матери, — белая, стройная, грустная, без Младенца. Внизу у статуи водоемчик, где лежали полевые цветы.

Кашин вынул из столика лист и попросил написать «точно» имя, отчество и фамилию Лебедева и его друзей. «Это очень важно» — добавил он. Все другие уже были записаны. Часть имени титул, часть более или менее известные дворянские фамилии. Он, представив Лебедева находящимся поблизости пансионерам, повел его в кухню. Там царствовала его дочь, Кира Алексеевна, — дама лет 35, крупная, с широкими плечами, хорошо сложенная и со взглядом жестким, дерзким, хорошо передаваемым французским словом «dur». — Это она всем ведала. Под ее начальством находились: повар, бывший студент-юрист, теперь ему пятьдесят, дама — помощница-подавальщица, графиня Ирина Владимировна. Дама очень худая, с дегенеративным лицом и умными и приветливыми глазами. Очень живая. Лебедев был представлен дамам, а про

повара, чистившего картофель, было сказано « это наш Иван Иванович ».

Дочь Кашина, по мужу маркиза Кастелло-ди-Аква (надо же иметь такую водевильную фамилию — подумал Лебедев), рассмотрев Лебедева и сделав маленькую неопределенную гримаску, — « как будто ничего », — предложила показать комнату.

— Все комнаты в шато заняты. Вам, двум мужчинам, придется спать в комнате на ферме, — говорила она. — Гостиная и столовая в шато остается в вашем распоряжении.

— Хорошо ! — Может быть и лучше, подумал он. Больше свободы. Коля не очень дисциплинирован.

Это была большая комната, совсем деревенская, во втором этаже, с одним окном во двор шато, с толстыми стенами и каменным полом. Показав комнату, спросив, не нужно ли чего еще, — она сказала : — У вас красивый сын, не как мой... Лебедев стал уверять, что его сын не так уж красив, а ее не так плох...

Она подошла к окну и остановилась в задумчивости. Чувствовалось, что у нее было что-то на сердце, какая-то неудовлетворенность. И в этой деревенской уединенной комнате с низким потолком, с толстыми стенами, а в окне широкий двор и открытые ворота в ширь полей, — тоска по нехватке ей « интимности » и уюта, наполняла ее. Лебедев почти в точности понимал ее состояние и молчал. Она вздохнула. Повернулась. Взглянула. « Если что нужно, скажите ! » И ушла.

Ее жизнь, как он узнал после, была тяжела. Она вышла замуж по настоянию матери, хотя и был у нее тот, которого она любила. Муж ее Кастелло-ди-Аква был фашистом. Во время войны муж получил крупное назначение и из Франции уехал в Германию. Оттуда он скоро прислал ей развод, не указав даже своего адреса. Она осталась одна в деревенском доме с маленьким ребенком на руках и надо было зарабатывать на жизнь. И приходили в этот дом, то немцы, то парти-



заны («резистанты») — с подозрением, с желанием... Потому-то, может быть и взгляд у нее образовался такой жесткий.

Лебедев пошел посмотреть на шато с фасада. По указателю шато было построено в стиле чистого Ренессанса. Была сотня других шато более знаменитых, но меньшая грандиозность только усиливала привлекательность. Оно казалось «реальным», жилым, подлинным, таким, где текла повседневная жизнь, которую на вас невольно и излучала. Теперь этот свидетель эпохи был замкнут в себе, казался «вечным» и к нам — смертным, — безразличным.

Крылья позднего времени его портили, но на них можно было и не смотреть. Вместо искусственного озера перед террасой, остался лишь луг с кислой травой и кочками. В одной из гостиных, особенно уютной, висел портрет акварелью в овальной раме красивой дамы не без грусти в лице и рядом портрет мальчика в жабо, а также три неумелых рисунка трех шато (у давнего владельца их было три), в том числе нашего, без поздних крыльев и с озером.

Сеньор де Х., чье имя носит шато, был губернатором \*\*, участвовал в Лиге. Защищался. Сын его был убит, а сам он был взят в плен. На коленях умолял о пощаде, но пощажен не был, лишь в виду его «благородного» происхождения его не повесили, а отрубили ему голову. Победитель, командовавший армией и не пощадивший сеньера де Х., сам, впоследствии, был казнен... В старой книжке аббата \*\* кроме этих подробностей края, сообщались также гастрономические: где и как можно вкусно поесть и выпить.

\*\*  
\*

Раздался звон колокола на завтрак. И Лебедев с сыном пришли на минуту позже других, так как им приходилось пройти двор. Они были представлены всему обществу. Все места за очень большим овальным

столом были заняты, и вновь прибывшим был поставлен стол между огромнейшим буфетом и окном. За главным столом во главе овала председательствовала Кашина. Она имела такой вид, что ошибиться, что она председатель нельзя было. Справа от нее сидел барон, сын виконта — владельца шато, приехавший на субботу и воскресенье. За ним по порядку молодая круглолицая барышня Элен. Барон ел с аппетитом и разговаривал с оживлением по-французски, — направо-налево, ловко вставляя слова между пережевыванием. Говорили ни о чем, но, казалось, с большим интересом. Напротив Кашиной, во главе другого овала, сидел муж — молодой губернатор (за семьдесят), справа от него седенькая маленькая старушка — «старая губернаторша», а слева сам «старый губернатор», старичек лет восьмидесяти.

Многие из присутствующих уже перешли «брачный возраст». Далее следовали мужчины «средних лет» (по эмигрантски лет за пятьдесят) и их жены, тоже «средних лет» (за сорок) и очень мало детей.

Графиня с лошадиным лицом и умными глазами и высокого роста англичанин-студент из Кембриджа, подавали. Студент здесь был для усовершенствования в русском языке. Видимо жил бесплатно, и его эксплуатировали как могли: он подавал за обедом и ужином, мыл посуду, давал уроки английского внуку и бабушке, и дедушке и даже пытались заставить его переводить тактику, которую писал полковник — гость. Правда, дедушка отпускал его обычно на волю Божию.

Завтрак «праздничный» затянулся. К концу завтрака, вдруг, медленно спокойно вошел Остап своей подволакивающей задние ноги походкой. Он пришел посмотреть здесь ли гусар-поэт — его любимец. Барон и Остап, увидя друг друга, замерли возмущенные. Барон встал и раздраженным голосом стал его гнать, а Остап раздраженно на него лаять низким редким брехом. И Остап ушел. Теперь, когда барон встал, то

на свету лучше было видно его деформированную голову, зеленоватый цвет лица, стеклянновидные «пустые» глаза, худые кривые ноги. «Рахит», сказал после про него Коля. Любопытно, что отец — виконт, изредка приезжавший, не показывал никаких признаков дегенеративности, а напоминал, пользующегося жизнью и полным здоровьем, провинциального купчика. Завтрак был мало-сытным и мало-вкусным, но все казались удовлетворенными.

Гости шато («официально», это были гости, а не пансионеры) делились на группы смотря по их симпатиям и интересам. Но были и одиночки и разные «чудаки». Был, например, полковник — «но не в отставке» — добавлял он (работал на заводе). Он считал, что каждый день он должен делать девять верст пешком. Он брал палку, оставляя свою жену вязать и проделывал эту прогулку. Это даже не была прогулка, а усиленный марш по большой асфальтовой дороге, — красота природы его неинтересовала. Это он писал тактику, говорил: «у меня в полку», «мой доктор» (про полкового врача).

Был Лукин — «благородный корнет», который любил ругать все русское, будучи сам чисто русским. Здесь он не находил аудитории, хотя бы молчаливой, хотя бы из вежливости, с улыбкой на «чужачество». Кроме того пафос «ругательства» у него стал падать и он оседлал нового конька, — ударился в радиостезию и спиритуализм. Постаршевший, поседевший, но не потерявший шарма, в каждый момент он вытаскивал шарик на ниточке из кармана, и тот начинал у него качаться и круги делать. Кроме того он стал «целителем» (*guérisseur*’ом \*). Моя сила, — сказал он как-то не без торжественности своему другу, — равна... 150-ти сантиметрам. И ждал от того удивления. И тот удивился и попросил разъяснения. Тогда, в доказатель-

---

\*) Целители — «*guérisseur*’ы» очень распространены во Франции.

ство, был принесен двухметровик и разложен. Лукин взял шарик и, показывая пальцем на цифры метра, от одного и дальше, стал водить пальцем, держа в другой руке шарик. На 150-ти шарик закачался.

— Да может быть у вас еще больше?

— Больше не бывает!!

Вера его в свои силы была удивительна и была его силой. В каждом возможном случае вынимал он свой шарик, чтобы узнать, — полезно ли данное лекарство, можно ли есть данное блюдо, полезен ли вам лук или чеснок, сколько надо было принять пилюль, получите ли вы ожидаемое письмо. Он вытаскивал из кармана шарик и даже во время обеда крутил его над тарелкой...

— Вот смотрите, — сказал он раз за чаем, — возьмем сахар, — и берет один кусок. Шарик весело крутится по часовой стрелке (разговор шел с мужчиной). — Значит вам полезно. Он стал прибавлять сахар по кускам, — и веселость шарика стала падать, потом шарик стал раскачиваться по прямой, а потом, на шестом куске стал двигаться против часовой стрелки. — Теперь вредно!

— Надеюсь вы ему не помогаете, невольно, бессознательно?

— Боже сохрани!

— Мм...

Дети прозвали его колдуном...

Был еще господин Ногин, лет пятидесяти с небольшим, человек сильного сложения с карими глазами, «специальностью» которого, казалось, было — ухаживать за дамами. За всеми дамами, более или менее красивыми, более или менее молодыми. Он был женат, все об этом знали, носил кольцо, но это, видимо, его не смущало (жены, правда, с ним не было). Он «бегал» за Элен, барышней сидевшей с бороном; за черноглазой, смуглой, скромной, похожей на девочку в пятнадцать лет, Елецкой; за Франей — полькой, ходившей с задранном носом, за Ипатьевой; за Кирой, дочерью

Кашиных, ведающей всем и всеми. Та даже ему сказала :

— Когда вы приехали, я подумала, — вот, наконец, интересный человек, а потом разочаровалась, оказалось, — сатир какой-то...

— И правильно делаете, что разочаровались, — ответил ей не смущаясь Ногин... мне, конечно, приятно было бы вас победить, — и он улыбнулся, ласково ее рассматривая, — но и других тоже приятно. Вот что-то Ипатьева не поддается...

— Ей нельзя. Она разводится с мужем. Муж развода не даст. Хочет на нее вину свалить. Узнает, — скажет — романами занимается.

И сама благородная дама — бабушка Кашина тоже говорила с легким неудовольствием в голосе :

— Послушайте, Сергей Николаевич, (Ногин), не поймешь сколько вам лет ? Бегаєте как козел...

— А вы думали, Марья Петровна, что я коза ? — отвечал он с насмешливой улыбкой.

Многие из мужчин могли бы быть отнесены к категории « чудаков » и это, пожалуй, характерно для русских. В Англии их называли бы оригиналами и относились бы к ним с « признанием ». В русской же среде это иногда рождало горячие споры, повышенные голоса и даже ссоры. Но как это ни странно, и если бы можно было взглянуть на эту русскую среду сверху, « чтобы видеть не деревья, а лес », то картина была бы не лишена гармонии, и, несмотря на разноречивость, держались они все вместе и по-своему дружили.

## Глава II

Первым после утреннего кофе появлялся на авансцену Шавилов. Вымывшись тщательно, побрившись, причесавшись и слегка spraysнув себя одеколоном, он выходил словно мелкой рысцой перед шато. Высокий

и стройный, в серых фланелевых брюках со складкой, весь серый, серебристо-серый, как его волосы, и лучистый, как его глаза... « Любуйтесь ! Неправда ли мной можно любоваться ? Я здесь — я вышел... И, может быть, открылись окна, мне не видно, и кто-нибудь, она, в шелку, в пеньюаре, графиня, — смотрит и думает : как он все-таки хорош !.. и как хорошо воспитан ! » (Последнее для него было очень важно). Пройдя немного вперед своими мелкими шажками, гарцующей рысцой, к каменным перилам лестницы, спускающейся с двух сторон к когда-то бывшему пруду-озеру, он вспомнил о том, что плавали здесь гондолы и сидели в них маркизы... И вот одна, опустила свою аристократическую руку в воду, и струйка бежала за лоджой от этой нежной руки. И пела маркиза.

— Как чудно она поет ! — сказал он вслух и оглянулся. Никого нет ! И пруда нет. Но песня словно звучит. И высоких чувств восторга никто не заметил. И из окна может быть никто не смотрел ? !.

Но вот стукнула дверь и появилась дама и села на скамейку. С подобающей поспешностью подошел он, склонился и спросил — как спала дама... И снова открылась дверь (дверь туго открывалась) и вышла другая дама — графиня — и села на другую скамейку. К ней перешел Шавилов. С учтивой грацией поцеловал ручку. Осведомился, как изволила графиня почивать и, после нескольких слов, попросил разрешения сесть рядом. Разрешение было благосклонно дано.

Выходили мужчины. Другие дамы выплывали на площадку перед шато, открывался хороший вид, да и само шато — его фасад — привлекало к себе. Садились в длинные кресла, на скамейки или на стулья. Шили, вязали, читали или плавно прогуливались. Картина была мирной и прелекательной. Лукина, в широкой шляпе и черных очках, в легком ярком платье с большим декольте, водила на веревочке сиамского кота (боялась как бы его не « съели » собаки). И как бывает в массовых сценах в театре или в опере,



необходим пункт закрепляющий внимание, — так и тут эта дама с сиаемским котом на аван-сцене была нужна.

Артиллерийский капитан, боком на железном стуле, рассказывал прекрасной Елецкой о... бузине. И она смотрела на него, в его голубые глаза своими бархатными. Черные ее ресницы взмахами то поднимались, то опускались, и изредка, с пришепетыванием, задавала вопросы... А он, как подстегнутый конь, как заряженная батарея, рвался в бой, палил то очередью, то залпом и из бузины у него то кисель выходил, то варенье, то клетка для птиц... И пальцы его шевелились и брови поднимались и опускались, — для убедительности...

« Всем хорош, — думала Елецкая, — опереться бы на такое сильное плечо, на такие познания, — один минус, — женат ».

И вставал Шавилов от одной графини, чтобы подойти и приветствовать с грацией другую...

Вдруг за шато послышалось гикание и улюлюканье « бессмертного » \*) гусара-поэта и восторженный рев Остапа. Это гусар шел купаться и вел с собой собак.

Сравним с оперой. — Оркестр заиграл форто. Выбежала порхающая Элен и из-за правого крыла шато показалась могучая фигура Ногина. Далее шли одиночные арии и дуэты...

Жизнь, конечно, не ограничивалась площадкой перед шато или этим гиканьем гусара, наполнявшим всё. Полковник брал палку и шел проделывать свои девять километров. На кухне Кира спрашивала Ирину — чем мы будем « их » сегодня кормить ? Что там осталось от вчерашнего ?

---

\*) Называли себя « бессмертными » Александрийские гусары. Они носили черную с серебром форму. Тогда как немецкие гусары, имевшие тоже черную форму (с черепом и костями) называли себя « гусарами смерти ».

— Всё, черти, съели!

Повар с длинным носом философски и медленно чистил картошку. Лукин-колдун бегал по больным. Кружил шариком, накладывал руки и спрашивал:

— Ну что, хорошо?

— Да, хорошо, спасибо.

— Нет, нет, надо еще... Ну, как, лучше?

— Как будто лучше... — и оба оставались довольны.

Кашин — со спокойной хмуростью — пил на кухне кофе. Получал инструкции от Киры, что надо купить в городе, и уезжал на своем одре-велосипеде.

В куртинке лип, вне взгляда взрослых, где была небольшая площадка и висели качели, Хильда, девочка лет четырнадцати полунемка-полурусская, крупная, широкобедрая, боевая, — выбрав как противника Колю Лебедева, мальчика двенадцати лет, рослого и худого, — сцепилась с ним в борьбе за первенство. Схватка была ни на жизнь, а на смерть. Все дети окружили. Коля одолел. Он разодрал в кровь руку Хильде, посадив и ей и себе ссадины и синяки. В борьбе он не очень стеснялся с «женскими признаками» своего противника. Просто об этом не думал. Теперь он выглядел, как пощипанный орел, со своей длинной худой шеей, оборванными пуговицами, — на руках мотаются рукава, как крылья — и с полуголой грудью. Глаза его, ставшие из голубых серыми, горели еще пафосом борьбы...

— Иди промой, иди промой! — говорили девочки Хильде, показывая на кровь. Но та трясла отрицательно головой и не шла. На Колю же она смотрела даже с удовольствием и без всякой обиды за поражение...

А гусар уже пытался окунуться в маленькой реченке, рядом с фыркающими собаками...

На кухню приходил англичанин. Быстро мыл чашки и уходил давать уроки бабушке, а потом Букевнуку. Кира пила черное кофе, курила. Медленно двигалась. На краю огромного грязного стола стояло

радио. Она ставила тихо, под сурдинку, что-нибудь «серьезное».

Приходил на кухню Барсуков. Иногда даже в халате, прямо после утреннего кофе. Садился на край скамейки, не взглянув грязна ли она или нет, предлагал папиросу и сам закуривал. Он был лохмат и некрасив. Резкие нарубленные простые черты лица. Глубоко сидящие глаза. Широкие выдающиеся скулы. Цвет лица глинистый. Глаза имел темные, горячие с татарским оттенком. Хотя Кира его гнала, но он не уходил. Часто помогал. Что-то рассказывал: просто, нарубленно. В деревне бывают такие «ребята»: и «пошалить» и дерево срубить в барском лесу, и рой пчелиный поймать. — «Мы не лыком шиты». В городе, — фабричные, «острые», смелые... И сверлил он Киру глазами, поправляя иногда рукой лохматые, светлые, мягкие волосы, лезшие ему на глаза. Волосы и глаза были контрастом.

На двор выходила маленька «пепельная» женщина с палкой в руке в легком зеленом платье. Это была жена гусара. Она ждала возвращения своего мужа, чтобы идти с ним на прогулку. Перед ней бессмертный гусар становился смертным и не рубакой, а рубахой.

Но «оперное действие» перед шато вскоре было прервано. — На сцену появилась «благородная дама», она же Кашина. Она вышла взглянуть на своих подчиненных, так как всех пансионеров она считала своими подчиненными. И увидала, — о ужас, Элен в шортах!

— Пойдите сюда, дорогая моя, — сказала она ласково и вкрадчивым голосом. Та подошла. — Какой это на вас костюм? — продолжала она выпуклив свои глаза и так же громко, хотя Элен была около нее. — Вы еще совсем разденьтесь! — Нет, знаете, будем держаться старых правил и приличий... Просто стыдно на вас смотреть! (ласковость голоса исчезла) — ведь тут же мужчины есть (появился ложный ужас).

« Оперное » действие окончилось. Сцена стала пустеть, оставив довольную собой Кашину...

Но сбоку сцены, за кустами, на длинном кресле, озаренная солнцем, в коротких подвернутых шортах, в лифчике от купального костюма, лежала молодая смуглая женщина прекрасных форм. Ее ноги слегка расходились для большего солнечного обозрения, — золотистые и теплые (о, с виду! никто не осмелился бы их тронуть, а тронув, умер бы) — с игрой ямочек, холмиков, долинок, — они были вызовом — западней, как два жутких сладостных щупальца, высланных таинственным и хитрым чудовище. Ее грудь, лишь отчасти прикрытая, была вздернута на дыбы лифчиком и эти два крупных налитых зрелостью и совершенных по форме яблока могли бы соблазнить не только новоявленного Адама, но и самого змия. Черные брови дугой. Орлиный нос (красота была нерусской). Огромные черные же глаза останавливались на путнике и не двигались дальше. — Беги путник!

И когда Кашина распекала Элен, наша красавица, слыша ее, не шелохнулась « не прогремела »... И мужчины, медленно покидая сцены, проходили мимо нее, здоровались и не знали куда деть глаза, внутренне смущенные, — шли дальше, пятясь, чтобы хоть... « взглянуть напоследок! »

Оркестр заиграл тихо арию Индийского гостя из Садко и оперное настроение брало свои права.

В этой же части сцены, из нижнего окна боковой башни глядело другое « чудовище » в лице графини де Клок. Она щурила глаза и делала вид что рисует. Распутила свои щупальцы как могла. Щупальцы « астральные », так как другого рода щупальцы потеряли всякую привлекательность. « Астральность » же была ее специальностью. Она неодобрительно слушала распекания Кашиной, неодобрительно смотрела на смуглую красавицу. — Одобряла она только себя. С Кашиной она была в контрах. У них шло соревнование, кто из них « бóльшая дама ».

Графиня была графиней по мужу, а Кашина, — была баронессой по рождению. Неодобрительно смотрела на красавицу, — просто за ее красоту и молодость. Сутула до горбатости. Ходила боком. Глаза имела цвета Балтийского моря, светло-голубовато-серые, выпуклые. Себя считала женщиной очень интересной. Подкрасится, наденет сиреневую вуальку, прищурится, положит нога на ногу, — смотри! А отсутствие прелестей тела она заменяла воображаемыми ею прелестями своей души: аристократической, возвышенной, оккультной... Она составляла гороскопы и брала за них по десять тысяч (будто бы). Раз, давно, околевшая уже ее любимая рыжая кошка пришла к ней и легла на зеленой подушке дивана; — рыжая на зеленом! И потом, когда она позвала ее, то кошка исчезла! Но примятое и теплое место осталось... Никто ее не спросил, бывает ли вес и теплота у астрального тела. Лебедев сказал ей с серьезным видом, что это к болезни: кошка любила, пришла, предупредила и ушла. Будьте осторожны! Чем ее смутил и она на всякий случай стала соблюдать осторожность. Она жила в своей башне, как некий «оккультный спрут». Свои чары она направила теперь на Лукина, — интересного господина лет за пятьдесят, высокого роста, с седой головой и прямой шеей. Тем более, что Лукин, безразличный к религии, тянулся ко всему сверхъестественному; отрицая врачей, признавал знахарей и сам «лечил народ». — У них были общие точки соприкосновения.

Как некогда Чичиков, графиня заявила, что у нее болит зуб, на верхней правой челюсти. Лукин сделал пассы, наложил руку и зуб прошел. Но контакт был налажен. И она восхваляла его силу (знала чем взять!). — И вечером, после ужина, томно и «интимно» ему сказала: «подумайте о моей правой верхней челюсти! Спокойной ночи...» (челюсть эта, по всей вероятности, была вставная).

У башни этой дивы находился небольшой круглый

водоем и там жила лягушка. Графиня очень покровительствовала этой лягушке... Башня. Графиня. Оккультизм. Лягушка...

\*\*

Раздается звон колокола. — На обед!

Все чинно входят. Раскланиваются. Садятся по местам. Выплыла высокомерно Кашина и заняла председательское место. На столе цветы. Появляется новый гость, которого представляют. Это русский, носящий громкую русско-швейцарскую фамилию. И хотя Кашина была довольна «громкостью» фамилии, но гость явился к обеду в шортах! У мужчин, кроме обеда и ужина, она «терпела» шорты, но к обеду! Нет! Да и представлялась возможность ей отличиться и показать свое «губернаторство».

— Послушайте, Петр Иванович, обратилась она к вновь прибывшему, — в наше время так не выходили. Уж потрудитесь одеть... — и она сделала круглые глаза и — пауза, — брюки. — Так сказала, словно брюки было неприличное слово... — Сейчас оставайтесь, сейчас оставайтесь, — сменила она гнев на милость...

Гость сумрачно остался. — Какая тут опера! — Обед был удивительно плох. Но все казались довольными... И русский швейцарец с громкой фамилией после обеда заявил, — публично, показав храбрость, — чтобы ему каждый день подкупали бифштекс. «Это тебе за шорты!» — подумал он. А Кашина после полупублично говорила: «Я удивляюсь, как это люди недовольны... Уж так кажется хорошо кормят!»

Воспоминания о прошлом были одной из главных тем за столом. Больше о славном (для рассказчика) прошлом или об «удалом» прошлом. Те, которые говорили о славном прошлом, пришепечивали, подсюсюкивали, грассировали, глотали «л» или появлялся у них слабый иностранный акцент, а то, какая-то



ненормальная интонация во фразе, по их мнению — «высшего слоя», которая уже вошла в привычку. Рассказчики об «удалом» прошлом говорили на чисто русском языке...

— ...А вы знаете, — продолжал рассказывать старый губернатор (за восемьдесят) молодому (за семьдесят), — из славного прошлого, — «Государь к нему благоволил...»

— ...И на «старушку бывает проруха», — с кадетиками \*) снимался (потому, видимо, благоволение Государя и кончилось).

— ...Театры устраивали, спектакли... Двести человек народу... Женились... — рассказывала старая губернаторша. — Киса Полоцкая замуж вышла... Правда неудачно...

— ...Еврейчик какой-нибудь — подал реплику «молодой губернатор» соседям.

За малым столом, где сидел Лебедев, шли разговоры об «удалом» прошлом и о всяких комических происшествиях на фоне русского раздолья. Конечно, были здесь преувеличения или рассказы их отцов из времен почти крепостнических и пошехонских \*\*).

Лукин превращался в красная. Забывал свой шарик, свое предрешенное им русофобство и свой проамериканизм. Он рассказывал с увлечением, с умением, захватываяще и для красного словца ничего не жалел. Чаще проделывалось это во время чая, к которому «высшие слои общества» не выходили. Чай надо было организовывать самим. «Дирекция» явно его саботировала, жадно желая уменьшить свои расходы. Чай организовывали «средние слои общества», кипятя

---

\*) К-Д. заглавные буквы политической либеральной партии в России: Конституционно-Демократической, откуда — «кадеты».

\*\*) «Пошехонская старина» — Салтыкова-Щедрина, где ведется рассказ о помещичьей семье, о ее жизни и глухом краю во время крепостного права.

воду, раздобывая хлеб, покупая в складчину масло и сыр.

Можно сказать, что «низших слоев общества» вообще не было. Прибыл однажды парикмахер, да и заявил дамам около него стоящим: «пойду на речку подштанники постирать», а потом, за неделю два кило веса потеряв, сказал: «На такой жратве с голоду околеешь», — сказал и уехал... Дело не в том, что он был парикмахером. Молодой губернатор, несмотря на свои семьдесят лет, работал ночным шофером. Была и парикмахерша среди присутствующих. — Дело в деликатности воспитания...

— ...Был у нас в Поречьи \*) Зарубин, Петр Николаевич, — рассказывал Лукин. Так тот, как напьется, берет два пистолета и идет на вокзал, — татар стрелять. — У нас там татары буфет держали, прекрасный был буфет... Так он по ним палил! — В каждую руку по пистолету и жарит... Лакеи кто-куда разбегались... «Я, говорит, им в ноги целю». — Ну, конечно, икру какую прострелит, приходилось платить и здорово.

После обеда наступала, по регламенту, тишина. Многие шли отдыхать и жизнь шла замедленным темпом и главным образом во дворе. Гусары (муж и жена) с палками в руках отправлялись в дальнюю прогулку и заманивали и других, — никто не шел. Собаки мирно лежали. Барсуков, иногда, в резиновых сапогах чистил забитый сток. Кира около возмущалась: «Какие это мужчины, никто помочь не хочет». Она забывала, что эти «мужчины» были в то же время платным пансионерами и приехали не для того, чтобы чистить грязный сток.

Дети играли и не очень соблюдали тишину. Армянский мальчик Сережа бегал как паровоз. Маленький, черный, коренастый, коротконогий. Он пыхтел и хотел быть всюду, — как бы чего не пропустить. Од-

---

\*) Город и уезд Смоленской губернии.

нажды другой мальчик — Петя, с криком стал бегать перед шато. Лукин, который был в объятиях Морфея со своей очаровательной женой, проснулся, выскочил, подскочил к нему и что-то закулдыкал невнятно, от возмущения. Потом, подумал-подумал и дал ему тумак, — этакий легкий подзатыльник. Петя, двенадцатилетний вундеркинд и божок родителей, подумал-подумал и заплакал. Получился скрытый и молчаливый скандал. — Петя и родители уехали.

Сток был вычищен. Барсуков и Кира пошли купаться. Иногда к ним присоединялся англичанин. И случалось, разыграются, — бросали они Киру с размаха в воду...

Двор как бы представлял «обратную сторону медали». Благородная дама — Кашина, которая за столом говаривала: «Вы знаете, мы не привыкли с легким разговорам. Какие-то намеки...» Выползая на двор, поспав предварительно, садилась на скамейку отдохнуть от «трудов праведных», и рассказывала Лебедеву, который был около.

— Послушайте, Александр Иванович, какой произошел забавный случай. Тут есть курица, так, по нашему возрасту — лет на сорок пять. И молодой петушок, — этак, по-нашему лет на шестнадцать-семнадцать, на нее наскочил, — и не смог. Не сумел! Посмотрели бы вы как она его отделала! Клевала, била, гнала! И другие куры тоже и даже утка!

Лебедев слушал с удивлением, хотя и с невозмутимым видом. Вольность темы и «красочность» сранения видимо показывали доверие Кашиной к нему, как «между своими», когда можно говорить откровенно, без всяких «фигли-мигли», а попутно и пощекотать свои угасающие инстинкты...

В другой раз тому же Лебедеву и тоже во дворе:

— Вы знаете какая особенность у Фрица? (Фриц мальчик лет одиннадцати был в шато с матерью, урожденной светлейшей княжной, вышедшей замуж за немецкого полковника).

— Нет, не знаю, Мария Ивановна, особенностей Фрица. Он мне мало симпатичен...

— У него один яичник ! (!!!) — сказала Кашина торжествующе, — употребляя « женский термин » вместо мужского. Лебедев даже слюну проглотил от неожиданности. — И потом, он делает в кровать, — продолжала она.

— И вообще, — сделала она несколько неожиданное заключение, — дети, эти так называемые « цветы жизни », их всех надо собрать и утопить !

— А как же Буку (внука) ? — осведомился Лебедев.

— О, за него я всем глаза выщарапаю !

Поговорив с Кашиной, Лебедев медленно направился к себе в комнату. Из одной пещеры, служившей чуланом вышла фермерша. Она несла запотевший жбан сидра. Запахло кислыми, слегка прелыми яблоками.

— Добрый день !

— Добрый день !

— Как дела (знаменитое : коман са ва ?).

— Вы разве пьете сидр ? Ведь это в Нормандии ?

— Мы тоже пьем, — она поставила жбан на землю.

— Скажите, это молния ударила в башню ?

— Да молния... Убило человека, ребенка и двух свиней... И когда пришли просить у старой графини, она жила тут, простыню, чтобы завернуть тела, (вместо савана) та ответила — у меня нет старых простынь, и ничего не дала, — сказала фермерша с неприязнью. Хотя и произошло это очень давно, но не забылось. Лебедев покачал головой, фермерша подняла жбан, и они разошлись.

### Глава III

Что может случиться, произойти в пансионе, на каникулах? В глухой дыре, хотя и в шато? Жарким летом? В культурном «правовом» государстве? Где приличия соблюдаются, где мужья следят за женами, жены за мужьями, родители за детьми. Все за всеми, — ничего. На поверхности, во всяком случае. Между тем произошло ки-не-ма-то-гра-фи-ческое событие, которое могло развернуться в драму.

Воскресение. Обед был в виде исключения хорош. Дамы для праздника принарядились. Барон в кожаных гетрах и в каком-то охотничьем костюме был в ударе. За обедом оживленен более обычного. Под шум вилок и ножей он ловко и живо вел разговор и налево с Кашиной и направо с Элен. Всё это напоминало молотьбу цепами, когда надо было не потерять темп и во-время ударить своим цепом.

После обеда стали расходиться. «Гусары» ушли на большую прогулку. Большинство пошло отдохнуть. Барон и Элен стояли во дворе разговаривая, словно в нерешительности. Элен была очень привлекательна. Отдохнула. Загорела. Легкая одежда «выгодно» обрисовывала ее стойную фигуру, длинные ноги. Если щечки и наплывали на носик, то зато над носиком были очаровательны наивные и романтические голубые глазки. Она храбро говаривала, что ей двадцать семь лет и, конечно, хотела выйти замуж, но по-хорошему. Мать Элен, дама с глазами факира, за ней присматривала издали. Теперь мать мирно спала в своей комнате.

Светило ярко солнце. Дремали собаки. Тишина. Окна позакрывались, позанавешивались, — там за ними был сон. Кира и Барсуков ушли купаться. Наконец барон и Элен решились и пошли гулять. У барона в руках был стэк...

Так прошел час. Огромная стена двора напротив окон замка, — обтесанный бок скалы, — белела на

солнце. Вдруг на ней появилась Элен и подняв руку кверху и махая ими закричала : « О секур, о секур ! » (на помощь, караул !). Залаяли собаки, раскрылись окна, в них показались лохматые головы, раздался топот ног по лестницы и мужчины за пятьдесят, тяжелой рысцей, некоторые придерживая штаны, — бросились на помощь. Повар, который жил на ферме, выскочил в шелковой пижаме. Сначала, впопыхах, он захватил было недопитый литр красного вина, но оставил его у двери, лишь отхлебнув глоток из горлышка. Ему пришлось догонять и врезаться в другую заднюю дамскую колонну помощи. Придти на помощь было не так-то легко. Вскрабкаться на эту высоченную отвесную стену скалы было невозможно, и передняя колонна, пройдя готические ворота, должна была огибать холм навзлобок и проникнуть в лес, покрывающий вершину холма... Из леса показалась Элен, рысцей. Ее круглое лицо было совершенно красно, глаза растерянные, она тяжело дышала, платье на ней было помято.

— Что с вами, что с вами ?

— Випер, випер (гадюки, змеи !) — только и сказала она.

— А где же барон — спросил кто-то.

— А он ушел еще раньше...

Колонна повернула назад. Элен постепенно успокаивалась. Показался повар, а за ним дамская колонна... Поговорили, пообсудили...

— Зачем же вы в лес-то пошли ?

— Грибы искать... и змеи две на меня... Не знала куда деться.

— Какие теперь грибы ? Рано еще. Это в России в это время. А змеи тут есть... все говорят... — и разговор перешел на змей.

Через полчаса вернулся барон. Он бил себя по крагам стэком и не остался ужинать, сказав что поедет с ранним поездом. Лицо его было бледно как всегда и

глаза — как стекла, — как всегда. И жизнь вошла в свои русло...

В эту жаркую ночь Лебедеву не спалось. И всякие мысли лезли. Приходили воспоминания и особенно «странности», которые оставляли осадок непонятного. Как крестословицу, как психологическую задачу хотелось понять, решить.. Потянуть за нитку, распутать клубок. — Теперь случай с Элен не укладывался, как «нормальный». Лебедев участвовал в колонне помощи и первый встретил Элен. Вид Элен его поразил и запечатлелся. Объяснения ее казались неудовлетворительными. Лебедев сидел во дворе на лавочке в тени в это праздничное после-обеда. Он наблюдал как Элен и барон стояли в дверях, переговаривались и потом пошли вместе гулять. Не могло быть сомнений. Почему впоследствии барона с Элен не было? Кавалер так просто не бросает свою даму... Лебедев бывал в этом лесу, на вершине холма, в общем, в сухом лесу, и в открытой его части, где нормально следует гулять или сидеть, — змей не должно быть. В гуще же никто не гуляет, да и проникнуть в гущу было трудно. Было жаркое сухое лето и о змеях вообще не было слышно, — никто за все время в своих прогулках ни одной змеи не видал... Во-вторых, зачем звать «на помощь» от змей, появляясь на высокой стене двора, когда, чтобы подойти к ней, надо было пройти все же через «маленькую чащу» и через колючки. Да и как можно было бы помочь? Не проще ли было просто уйти или убежать?

Страх от змей, продолжал рассуждать Лебедев, должен быть «страхом бледным» (лицо должно было бы бледнеть) и вообще скоропроходящим, — нет змей, прошла опасность, прошел и страх. У Элен же чувствовались эмоции другого порядка, — она была красна, глаза еще выражали испуг какой-то «внутренний».

Почему она продолжала бежать по дороге, уже выйдя из леса, как бы еще неуверенная, что опасность вполне миновала?

Почему на ней был помят костюм?

Почему барон явился через полчаса один и с совершенно противоположной стороны, откуда даже появление-то его казалось невозможным, так как не соответствовало никакой дороге? И не остался ужинать, уехав с ранним поездом, что с ним никогда не бывало...

И стала Лебедеву представляться картина «возможного происшествия» всё с большей и большей яркостью, почти с интуитивным провидением.

И увидел он сначала себя самого, сидящего на скамейке в тени дома недалеко от входа. Ярко освещенный солнцем двор. Жжена травка на нем. Стена и в ней входы в пещеры. Собаки. Любимый Остап. Элен и барон в дверях переговариваются. И потом пошли гулять. Медленно поднялись они по дороге, огибающей вершину холма, разговаривая не без игривости. Всё располагало к этой игривости: возраст, погода, пол, начавшийся флирт. Потом, по предложению барона, они вошли в лес, росший на самой верхушке холма, со стороны шато. Лес был довольно мрачен. Все больше дубы «строевые», ровные, высокие, даже удивительно, — но не веселые. Игривости у Элен стало меньше и показалось ей «одинокое». Барон предложил посидеть «отдохнуть». — Сели.

— Chère Hélène! А начал барон, подсаживаясь поближе и улыбаясь криво и многозначительно. — chère Hélène! — и все ближе. Та слегка отодвинулась. А он ближе. Она опять отодвинулась. А потом: — Ma chérie — chérie! — и ну обнимать. И улыбка, хоть и кривая с лица сошла. И ну целовать. — je t'aime, je t'aime! А сам валит. А сам лезет. И рукам волю дает!..

И жар и ужас объял Элен. Отпихивает. Отпихнула. Сбросила. Откатилась, вскочила и бежать. Но тот тоже вскочил. Глаза красные. Уж явно-злой. Никакой поэзии. С жадной похотью. За ней! Насиловать собирается. И отступление к дороге ей отрезал. Она — за дерево. Он — на нее пригнувшись, руки наготове.



Она — за другое дерево, глаза испуганные, лицо красное. Он за ней, — схватить норовит. Тогда бросилась Элен напрямик, через колючки, к срезу холма, что над шато, над двором. Добежала. Появилась над двором, да как закричит: « Au secours!!! Au secours!!! Руки кверху. Машет. Раздался лай собак. Слышен был низкий « брех » Остапа.

Барон остановился. « Дура, дура! » думал он. Еще бросится вниз! Он медленно повернулся. Нашел стэк. И пошел напрямик, через лес, в обратную сторону, где и ходу не было. — И скрылся...

Выждав с минуту, Элен с осторожностью, боясь засады, вышла на дорогу и рысью, утирая на ходу маленькие слезки, бросилась вниз, назад к шато. Помятая, изодранная, растерзанная, полная еще какого-то жуткого, « жаркого » страха...

— Пофлиртывала, матушка!

— А этот « шибздик » какой! — разгорячился Лебедев, представляя картину. Так какой-нибудь дальний предок его времен феодальных, захватив в этом же лесу свою крестьянку насиловал ее безжалостно. И молила та о пощаде, а сопротивляться очень не смела. А могла бы Элен этого « шибздика », схватив палку, да палкой! А то бы коленкой и в живот! А то бы отхлестать по щекам! И хлестать и хлестать! И гнаться за ним! И вырвать стэк, да и со всего маху, — стэком! Стэком!... Жаль, что не на Киру напал! Та бы ему все зубы вышибла!..

Лебедев метался как в жару... — Что я с ума сошел что ли, что так разгорячился? — спохватился он. Да ведь это только догадка, только вероятное... И постепенно успокаиваясь, он заснул.

\*\*  
\*

В другое после-обед, когда « тихий час » только подходил к концу, а Лебедев сидел на скамейке во дворе и смотрел на собак, — во двор въехал довольно

старый автомобиль, откуда вышел француз и обратился к Лебедеву, — что он хотел бы видеть «пренсесс». Лебедев переспросил, среди гостей было две урожденных княжны и это всё, и пошел в кухню, где была Кира, уже вернувшаяся с купанья.

— Какой-то господин, француз, спрашивает «пренсесс», у нас кажется никакой пренсесс нету?..

— Да это маму!

— Да она же не пренсесс?

— Всё равно, это маму! Бука, позови скорее бабушку, скажи конт (граф) Х. приехал! Маленький, в очках? — спросила она Лебедева.

— Да...

Выплыла «нобль дам» и заворковав, удалилась с графом.

После выяснилось, что граф-то, кажется, был ненастоящий. Сидела Кира с бароном на лавочке вечером, в субботу, и вела разговор на эту тему. Добрая половина титулованных и «де» фактически на то прав не имели.

Кашина отдала графу визит. Она попросила Барсукова, который был со своей машиной, отвезти ее к графу и играть роль шофера.

— Мне все равно — сказал Барсуков и отвез...



Приехали на велосипедах два жандарма. Маленькие, коренастые в кожаных гетрах, с усами «а ла Лебрэн» \*).

Им надо было подниматься на горку к замку, на велосипедах не так-то легко — они вели своих коней в поводу, словно с некоторой нерешительностью припадая на каждую ногу и их «коряча», как кавалеристы. Приблизились к кухне.

---

\*) Последний президент Французской Республики перед войной.

— Кира Алексеевна, зачем-то жандармы приехали, — не без легкого беспокойства сказал кто-то.

— А, приехали? — сейчас! Это ко мне, — она сунула руку в какой-то ящик, вышла к жандармам и через минуту вернулась.

— Ну, что?

— Ничего. Уехали. Каждый год приезжают.

\*\*  
\*

Появился элегантный господин с бородкой — новый гость. С хозяином, молодым губернатором он был «на ты». Вновь прибывший был худ, строен, движения его, а иногда и замечания, носили характер легкой и естественной небрежности, что достигается только «высшей школой». Он также тщательно выполнял все правила приличий.

С удивлением узнали, что ему семьдесят лет, — а походка его была легка, брал горки на велосипеде не хуже молодого и был у него какой-то любимый браваурный мотив, который он и напевал без слов. Что-то вроде: «Как король шел на войну в чуждедальнюю страну»... И когда спрашивали про секрет его молодости, — «чеснок ем по утрам, каждое утро зубчик глотаю...» Глаза у него были серые как у галки, слегка странные, — словно жил он не только в этом мире... Поместили его «по знакомству» — на чердаке, на настоящем чердаке, где не было света, не было пола, а что-то насыпано, где надо было переступать через балки...

Когда приехал этот господин с бородкой, то хозяин по секрету про него сообщил: «вы знаете, у него не все дома, — взял советский паспорт, — а так, — столбовой дворянин, человек очень порядочный, окончивший правоведение, со мной вместе учился, но всегда отличался странностями. — Когда началась Японская война, бросил Правоведение и отправился на фронт. Вернулся, — потерял два года. Был старше

меня по выпуску, а стал моложе. Когда началась Великая война — он служил в Министерстве Иностранных Дел, — пропал, бросил Министерство. — Обнаружили его в армии... А теперь вот какой фортель выкинул, — советский паспорт, — не все дома!

Сначала господин с бородкой держался особняком. Завел палочку. Одел легкие серые в клетку штаны и напевал свое: «Как король шел на войну» и гулял один. Но потом примкнул к «среднему классу». Его даже этот «средний класс» слегка оберегал от гусара-поэта, крайнего монархиста, ярого анти-советского, отчаянного рубаки и человека нетерпимого. Но, так как гусар полдня гулял, в бридж не играл, и сам себя причислял к «классу высшему», то всё обошлось гладко.

— Сергей Николаевич (Ногин), не можете ли вы помощь прочистить этот проклятый сток? опять забился!..

— А где же ваш главный поклонник?

— Барсуков? — да я его послала на речку салат крессон собирать, а обед надо готовить, а то опоздаешь.

Ногин поковырял железным прутом в раковине, лил горячую воду, опять ковырял прутом, а потом, сделав на палке из бумаги, завернутой в тряпку, что-то вроде шлепки-присоску, нажимая на нее и отпуская, прогнал образовавшуюся пробку. — Вода потекла.

— А награда будет? — сказал он, присаживаясь к Кире на скамейку.

— Будет! — в лобек поцелую.

— Ну нет! Это мало! — В губы!

— Ну, хорошо.

И Ногин, полузакрыв глаза и подняв подбородок, стал медленно приближать свои губы к ее губам. Смотрел он в это время Кире в глаза, и она, как зачарованная, тоже в его глаза.

— Что ты, Кира!!! Нельзя! Ты с ума сошла! Оставь! — стала говорить обеспокоенная Ирина.

— В лоб согласна, а так нет! — спохватилась Кира.

— Нет! Я не согласен! — И так, — чары удава рассеялись?

И Ногин, вздохнув, покачал головой и, улыбнувшись с усмешкой, вышел.

— Спасибо за сток!!! — крикнула ему вслед Кира.

#### Глава IV

Появился какой-то автомобиль, — старый-престарый. Из него вышел полный, краснощекий, с рыжими усами, стриженный бобриком господин лет сорока, с молодой крашеной блондинкой — француженкой в шортах и с вульгарными манерами...

Оказывается, это был сын «старого губернатора». Если у отца деликатность и изысканность чувствовалась во всем, то у сына ни в чем. Приехал он повидать родителей проездом на Ривьеру. Кашина сдерживалась, но всё отворачивалась. Они пообедали и уехали.

— Что это он «пулю»\* свою с собой привез... Как ему не стыдно, — говорила после Кира.

А к вечеру приехал на «Бьюке» — большой американской машине — сын «молодого губернатора», со своей женой, — красивой женщиной, в костюме «апаша»: шарф повязан на шее, сама в узких черных брюках до щиколотки, а из кармана торчит красный платок. Было сказано «между прочим», что она урожденная графиня Х. Муж на нее не обращал никакого внимания и ходил как индюк, очень довольный своим Бьюком. Он был представителем какой-то американской фирмы и Бьюк был тоже «представителем». Оба посланы в Европу.

---

\*) Арго: «пуль» означает женщину легкого поведения.

— Мы в Америке — говорил он, — живем в замкнутом кругу, семей десять. — Герцога У..., князя Х. и несколько русско-американских семей...

Мать от него была в восторге. Сестра тоже.

Вечером, на кухне, что-то уж очень зашевелились. И опять, словно случайно, было сообщено Кирой. «Завтра мамины именины и мама будет петь. Мама будет петь! — повторила она почти с восторгом. Володя (приехавший брат) тоже! И у вас не будет бриджа »!

Наспех образовалась инициативная группа среди гостей главным образом «среднего класса» и решили «отметить». Русские не злопамятны. А могли за такой корм и уход даже и не поздравить, молчанием обойти. А тут гусаря-поэту поручили написать в честь оду. Заготовили красивую разрисованную бумагу с бантом, чтобы он там собственноручно свои стихи и изобразил. Послан был велосипедист за тортом и в округе набрали огромный букет.

К обеду немножко задержались. Когда Кашина воссела на председательское место, всем скопом вошли, поднесли букет и торт, и гусар прочел посвященное стихотворение. Стихи эти никто раньше не прочитал, — гусар был официально — признанным поэтом и даже исхитрился Кире продать книжку своих стихов за двести франков (она потом ахала, — «вот обошел, я думала даст просто почитать»). Мало того, что стихи были плохи, допустим, оправдание, что поэт должен был сочинять наспех, — но содержание совершенно не соответствовало точке зрения большинства. Автор выражал надежду и пожелание, чтобы «благородный класс», знамя которого так высоко держит Кашина и в котором так нуждается современный мир, — занял «подобающее» ему место «сверху». Он сравнил его с соловьями, а других с воробьями. — Эти: «на свои места вниз! (себя-то, конечно, он относил к соловьям).

Ничего не поделаешь, пришлось из вежливости аплодировать. Кашина же была очень довольна.

В пять часов был час с тортом (подаренным) и сладким пирогом. Делегация от детей с реверансами и шарканьем ножкой, цветами, — поздравляли. Вечером собрались в зале на «бал». Все лампы были зажжены, что, по правде сказать, давало мало света. Именинница торжественно появилась. Зажгли две свечи на пианино. Надела очки. Извинилась что у нее нет уже «того» голоса. (Ей было семьдесят). И начала петь романсы девятнадцатого века...

«Я забуду для тебя и клятвы и обещания!»..

(«Нечего сказать хороша, — забудет и клятвы и обещания» — подумал Лебедев).

Или:

«Не забыть мне измены жестокой  
Как кинжалом вонзившейся в грудь...»

(«Это-то она не забудет!»).

« . . . .

«Не круши сердце сомнением  
Покой души  
Не смущай, друг, волненьем...»

Муж ее — «молодой губернатор» сидел не двигаясь... Когда-то пятьдесят лет тому назад, эти же романсы спорной морали волновали его. Он сделал предложение молодой высокой барышне — баронессе, только что окончившей Смольный Институт... Поверил... Теперь лицо его выражало сдерживаемую усталость и безразличие. В этом шато-пансионе, где «губернаторшей» была его жена, он превратился в ламповщика и велосипедиста на посылках. В Париже же, в ночного шофера. Вернувшись с работы одиноко ел суп и мыл потом тарелку. И нередко приходилось слышать грубое слово от своей же дочери... Жена же

продолжала разыгрывать из себя барыню. — Ему не было весело.

После романсов Кашина заиграла бравурный вальс, один из тех, каким открывались выпускные балы в гимназиях и институтах. Шорох и движение прошли по ассамблее. Более пожилые дамы с седыми волосами, сидевшие в « последнем ряду » — по мягким диванам у стен, — вытянули шеи, чтобы лучше видеть. Дамы за сорок уже располневшие задвигались тоже : одни делая безразличное лицо, другие — явно заинтересованные. Молодые, — были готовы. Элегантный господин поднял даму и с изяществом открыл бал. Но, сделал круг по зале, устал и стал постукивать вставными зубами, а после второго круга зубы — верхняя вставная челюсть, — у него стала поперек на дыбы, и он, вытаращив глаза и стараясь не раскрывать рта, двигая подбородком и языком с успехом поставил ее на место (дама в это время отворачивалась, чтобы на него не смотреть). Он после третьего тура подвел даму к ее месту и галантно поблагодарил. Появилась другая пара. Муж и жена. Они кружились, кружились. И всё одни. Тогда артиллерийский капитан с солидностью пригласил Лукину — жену колдуна. Степенно сделал три круга, запыхался и посадил на место с поклоном. Оба были довольны. Капитан, сдерживая начавшуюся отдышку, спросил : — Не хочет ли дама воды...

Молодые дамы не выдержали, стали танцевать шерочка с машерочкой. Вдруг, неожиданно раскрылась дверь и появился... повар. Он вошел уже подтанцовывая. Он был мал ростом и с очень длинным носом. Вместо пиджака или хотя бы рубашки, на нем была пижама, — так спешил, видимо любил танцевать. Хорошо, хоть брюки-то надел, а не пришел в пижамных. Молодые барышни и дамы танцовавшие вместе, увидя его, моментально разлетелись по углам. Повар пригласил графиню Ирину, свою сотрудницу по кухне, — это она часто помогала ему чистить картошку. Осталась одна танцующая пара : графиня и повар.



Пара была комическая. Она, — высокая, худая, с длинной шеей, смотрела поверх его головы, как страус. Он — маленький, плотный, длинноносый, — устоялся этим носом прямо в разрез декольте. Наконец вальс кончился. И снова открылась дверь. Все обернулись, ожидая еще какого-нибудь странного появления. — Это был Остап. Он шел как какой-то посланник из другого мира. Большой, черный. Медленно и прямо. Подошел к гусару, ткнулся в него мордой, повернулся и вышел...

Весь этот бал казался химерическим, нереальным. Слабо освещенная керосиновыми лампами большая комната. В легком тумане углы словно имели свою самостоятельную жизнь. На пианино — обтекшие свечи и перед ними поющая прерывающимся голосом старуха. Вокруг стен, на диванах, седые дамы с вытянутыми шеями. Странное гоголевское интермеццо, — появление повара и его танец с графиней. Огромная черная собака вошла, прошла по зале медленной походкой, — как вестник с того света, — сказать, что « все вы умрете ! и уже умерли » — и вышла. Можно было ждать, что из углов появятся предки владельцев замка. Что из картин в тусклых золотых рамах вылезут как живые, но тлением пахнущие, люди и начнется « данс-макабр »...

— Сделаем перерыв — сказала Кашина.

— Может быть фокс-строт на грамophone ? — спросил молодой голос.

— Может быть кто-нибудь еще поет, — отчетливо произнесла Кашина, и взглянула на сына. — Может быть кто-нибудь поет — ты Володя ? — тот привстал. Но, вышла самоуверенная дама и спела одну, две, три вещи, спасая охами и ахами и цыганской манерой отсутствие голоса.

— Что она втерлась ! Только мешает ! — с раздражением шептала Кира Лебедеву.

— Кому мешает ?

— Да Володе, петь !

— Может быть кто-нибудь еще споет? — повторила Кашина, глядя на сына.

А выпорхнула Элен и запела взволнованная и покрасневшая от смущения. Хотя она и училась в консерватории, но фальшивила... Наконец все громко стали просить спеть молодого Кашина. Он слегка поломался. Медленно подошел к пианино и спел нудным тенором... Кира слушала с восторгом: — « Слушайте, слушайте », — шептала она Лебедеву. Тот слушал.

Потом затянули хором « Однозвучно звенит колокольчик »... Принесли граммофон и поставили фокс-строт. Появились шерочки с машерочкой. Элен вытаскала Ногина, потом его переняла Франия... и, после замешательства стали просить англичанина и Барсукова сплясать « русскую ». Старалась Кира, откуда-то знала что это возможно. Англичанин с Барсуковым поставили ей условие: чтобы дала она им бутылку вина и полфунта колбасы (тоже откуда-то знали, что есть). Кира согласилась. Барсуков, англичанин и Кира удалились. Через четверть часа они вернулись. Англичанин был одет русской бабой, в платке с нарумяненными щеками и с платочком в руке, а Барсуков деревенским парнем, в сапогах, рубаха на выпуск — что ему очень шло... Плясали они прекрасно и очень занятно. Все очень аплодировали, а они пошли допивать вино и доедать колбасу. Собрание стало медленно расходиться.

— Как всегда, у русских, повыли, потом поплясали — съязвил Лебедев, который был плохо настроен, — сын его Коля не послушался, не пошел спать, а досидел до конца.

На другой день Элен пристала к Ногину: хорошо ли он спал...

— Ишь расхрабрилась, — сказал он наконец, улыбаясь. — Ведь знаю о чем думаете... Потанцуй с вами прижавшись фокс-строт, а потом попробуй, — спи спокойно. Всякие мысли, да и не только мысли в голову лезут. Лезли и мне и вам !.. Я ждал, скрипнет

дверь, и вы появитесь... Что ж?.. Хотите расскажу «точно» как я о вас мечтал! Чур, не быть в претензии...

Элен покраснела так, что кажется даже глаза покраснели.

— Нет, не надо... Вы будете меня вспоминать, когда я уеду?

— Буду, буду, — голубоглазую, длинноногую Элен, с романтической душой. Не вытравляйте этот романтизм, он красит русскую женщину.

\*\*  
\*

Часть гостей уезжала. В том числе гусар с женой. Так как в городке существовало только одно такси, то для отъезжающих и их багажа подрядили, помимо того, грузовик. Провожали почти все. С шумом. Остапа на время заперли. Он выбрал гусара себе в сюзерены и был с ним неразлучен и боялись как бы он чего не наделал. Мог бы убежать за грузовиком, полезть в поезд. Свое «вассальство» он принимал всерьез...

Уезжавшие гости погрузились и тронулись. Им махали руками и платками. Через сто метров в грузовике что-то испортилось. Чинили. Потом мотор не заводился, и все толкали сзади и фотограф любитель снял «зады». Наконец, уехали.

Оставшиеся посудили, порядили и перешли «к очередным занятиям».

Остапа через два часа выпустили. Он стал искать своего гусара и не мог найти и был грустен.

— Через два дня он вас выберет, — сказала Кира Лебедеву.

— Почему?

— Да я его уж знаю...

И через два дня, утром, часов в семь, когда, видимо, собак только что выпустили, Лебедев был разбужен каким-то настойчивым шорохом и поскребом у двери, довольно, в общем, деликатным. Он открыл

дверь и увидел Остапа. Остап слабо помахивал хвостом.

— Ты что? — и Лебедев увидел эти, ставшие подслеповатыми с «безуминкой» глаза, которые выражали преданность и готовность. Он предлагал себя в вассалы.

— Ну, иди, — сказал и пустил его в комнату. — На! — и дал ему руку, в которую тот ткнул холодным носом. Погладил его по голове. Таким образом клятва верности и вассальства была принесена и принята. Остап, тяжело вздохнув, улегся на коврик у кровати. — Ты лежи, а я еще посплю.

Через час пришла Леда. Эта прямо царапалась и подвывала. Она уже успела перехватить на кухне. Теперь вошла радостная виляя хвостом усиленно, с явным намерением что-нибудь получить, тогда как Остап был удивительно безразличен к пище и подачкам.

Проснулся Коля Лебедев и был очень рад двум собакам. Леда к нему подошла виляя хвостом и улыбаясь.

— Папа, пойдем с ними гулять после кофе?!

При слове гулять Остап издал радостный рев и Леда необыкновенно заголосила и обе собаки стали «уговаривать» как можно скорей выйти и идти гулять.

Когда спускались с лестницы, Остап в темном углу какого-то закоулка увидел сидящую курицу. — Он весь насторожился и замер.

— Ты что? съ ума сошел! — насилу его оттащил Лебедев. Было в этом у Остапа что-то ненормальное. Курица же не считается дичью, а Остап премированная охотничья собака. Правда, он был совершенно не дрессирован, испорчен горячей пищей и полным охотничьем невниманием. На дворе ходило много кур и он их не трогал. Но то, что курица сидела спрятавшись, или если бы она убегала одинокая в поле, пробуждала в нем охотничий инстинкт.

Собаки ждали, пока Лебедевы — отец и сын —

выпьют кофе. Пили они для простоты в кухне. Причем Леда, более хитрая и не вполне уверенная что ее возьмут (она прекрасно понимала, что у Лебедева на первом месте Остап) заняла такую позицию, что нельзя было выйти со двора так, чтобы она не заметила. Остап лежал по близости от Лебедева и когда тот встал, то снова с ревом радости бросился вперед. Леда же, узнав направление, потрусила одна самостоятельно и заранее.

Всю дорогу, пока гуляли, Остап регулярно возвращался посмотреть, — здесь ли Лебедев и правильно ли он, Остап, взял направление. Он удалялся шагов на сто, по пути искал, нюхал, залезал в воду, а потом бежал назад к своему сюзерену — Лебедеву и машистыми шагами или «полевым галопом», — то держа хвост вытянутым пером, то тот у него крутился мельницей. И при приближении к Лебедеву глаза его загорались радостным огнем. Как были они прекрасны, эти собачьи, любящие, благородные, ясные карие глаза! — Так возвращаясь, он хотел снова чувствовать близость своего сюзерена. — А потом, — бросался вперед, довольный, что вместе, что «в походе»... То вдруг начинал красться и замрет у какого-нибудь куста у воды, поджав ногу, вытянув хвост.



Теперь, когда приехал молодой Кашин, ставший американцем с Бьюком, женившийся на красавице-графине, Кашина под собой ног не чувствовала. А сам молодой Кашин, от своей «значительности» едва ноги передвигал. Можно было думать, что на его плечах покоятся судьбы государства. Он хмурился, и можно было предполагать (по неопытности), что он «думает». Он походил на отца, но это была карриатура отца. Отец, несмотря на примитивность своих политических убеждений, был естественен и симпатичен, этот же, как «нуво-риш» был полон чванства. «Мы дружим

(в Америке) только с герцогом Х., с князем У. и с несколькими русско-американскими семьями» (просто русские семьи видимо недостойны дружбы).

Ходит Кашина, голову подняв, сама себе улыбается. Нет! Она не как все! В ней «голубая кровь» так и переливается. К тому же губернаторша. И решила она, где можно, себя показать. И вот на Бьюке с сыном-американцем, с невесткой-красавицей, урожденной графиней, было предпринято несколько поездок. Старого Кашина не брали. Третья поездка в знаменитый замок, который осматривает столько народу, где гид сторож в ливрее эпохи дает объяснения. И остановился Бьюк. И выплыли. И в замке они, в залах, среди гобленов, стильной мебели, среди туристов. И те смотрят, оглядываются: кто это такая важная, такая знатная. И даже место уступают. Гид, тоже с важностью, дает объяснения...

Но вот мнётся что-то Кашина и шепчет что-то своим спутникам. Приближается, пробивается она к гиду, среди объяснений и прерывает его вопросом: «Где здесь... уборная?»

...В старинных замках... скребутся мыши...

В старинных замках... «места» далеки...

«Исто-рия» окончилась

траги-комически.

Вечером, после этого дня, театральным шопотом рассказывала Кашина происшествие своей приятельнице-сверстнице из окна в окно. Внизу, на скамейке двора, наслаждался «миром», и «миром», звездами Лебедев. Кашлянул он сильно и громко дважды, чтобы дать понять, что есть дескать «свидетель». Никакого впечатления. «Ну как хотите. А мне тут хорошо» — подумал он и остался.

А та продолжает. С эмоцией. С чувством. Картинно. С какой-то предельной простотой. И словно все люди превратились в мужиков и баб. Впечатление от рассказа было неожиданно. — Лебедеву стало Кашину жалко.

А потом, должен был отбыть американский представитель Кашин-Бьюк в Испанию продавать товар.

«Маньяна», говорили там ему, «маньяна!» (Завтра. Подождите).

## Глава V

Всей компанией пошли купаться. Присоединились и Кира с англичанином и Барсуковым. Речка маленькая. Вода холодная, но нашли вдали такую колдобину, где можно даже поплавать. Чтобы дойти до нее, надо было или перелезть или подлезать под загородки. И одноногий астраханец говорил своей толстой Манечке: «Лезь, лезь, Манечка! — и тащил ее как мог к проволоку изгороди поддерживал и руку подавал. И она лезла... Надо проходить мимо коров и телят, лавировать около их «следов», идти мимо лошадей... Лебедев, увидя лошадь облепленную мухами, та держала кожей, трясла головой, старалась согнать их своим обрезанным хвостом. Лебедев согнал мух, в особенности их было много на морде, у глаз и носа. — И лошадь шла потом за ним, толкая мордой, чтобы он продолжал мух отгонять. Снимались у коров, у телят, у лошади, снимались у поваленного дерева, снимались на мостике. Играли в горелки. Барсуков и англичанин погнались за Кирой, чтобы ее бросить в воду. Она, с виду, сопротивлялась. Бука, как кабан, бросился защищать мать, но его удержали и Киру, раскачав, бросили. И полетели брызги... Остап всё время держался у Лебедева.

— Ишь, как он вас любит!.. И почему? А заставьте его броситься в воду!

— Остап, прыгай! — и тот со всего разлета — бух в воду! Лебедеву стало стыдно и он стал помогать Остапу вылезти, тут, для собаки, выйти на берег было трудно. «Прости меня!» — говорил он, глядя на эти верные собачьи глаза и таща его за шиворот.

Астраханец с одной ногой плавал как рыба. Англичанин тоже хорошо плавал. Барсуков сидел на берегу, лохматый, с горячими глазами следил за Кирой... Даже барон был и разделся, и жутко было смотреть на его рахитичные ноги с костлявыми коленями, — лучше бы не раздевался. Купаться он так и не решился. На Элен он не смотрел, а больше наблюдал за женой Лукина. Толстый господин тоже решил купаться, но у него не было с собой костюма и он пошел куда-то за кусты. Жена его — крупная блондинка, сидевшая на мостике, и которую он звал «Звзрюгой», очень за него боялась, как бы его не хватил удар. — «Осторожней, осторожней! Помочи голову и грудь!..

На обратном пути Киру посадили на лошадь и ударили лошадь по крупу. Лошадь пошла. Картина получилась неплохая. Кира была в купальном костюме. Лошадь, — сильная, крупная и на ней здоровая широкоплечая женщина, с развитой грудью, развернутыми плечами, дерзкими «вызывающими в бой» глазами, — настоящая Полиница-богатырша, дать ей копы в руки...

Потом Ногин, который нес ее купальный халат, задержал лошадь и помог ей слезть. Они пошли вместе.

— Я смотрел с завистью на людей, которые вас ловили, и в особенности, когда несли, Кира Алексеевна. Хотел бы вас так носить, — говорил Ногин, щуря глаза и лукаво улыбаясь. — Да боюсь, рук не мог бы оторвать...

— Я бы их оторвала! Не беспокойтесь.

— Не думаю... Вы бы оторваться сами не могли...

— Вы настоящий сатир!

— Но у сатира есть хвост и копыта.

— Хвост-то у вас наверно есть, — сказала она с безжалостной и сознательной двусмысленностью, — судя по вашему поведению.

— Поведение, конечно, неважное... Вы бы хотели,



чтобы я отдался только вам, — с той же двусмысленностью сказал Ногин, хотя и с внутренней неловкостью.

— На черта вы мне нужны!

— Что вы, что вы... Такая интересная дама и такие резкие слова. Взгляните, какой у этой дамы живот красивый (она осталась в купальном костюме «*deux-pièces*» с накинутым халатом). — Неожиданно, при таких формах...

— Почему неожиданно? — заинтересовалась Кира.

— Смотря на ваши «роскошные» формы можно было ожидать, что живот будет как сдобная булка, а тут и мускулы видны, и ложбинки всякие... Можно на него положить руку?

— Кладите!

Ногин положил ей руку на живот.

— Ну, что?

— Хорошо! Только холодный... Жаль!

— А вы видели, как Бука бросился меня защищать? Я была так рада. Значит он меня все же любит! (она даже порозовела от удовольствия). — Приятно, все-таки, знать...

— Да, это хорошо. Конечно, любит. Родители, как правило, любят детей больше чем дети их. И не всегда ясно, любят ли дети родителей. Любовь в беде познается. И дети часто эгоистичны...

— В особенности мать любит своих детей.

— Но и отец любит, — нормально. Посмотрите, например, как Лебедев любит своего Колю. И заботится не хуже матери. А тот носится, как жеребенок. А любит ли «тот»?

Кира взгрустнула. Отец ее Буки о сыне совершенно не заботился и им совершенно не интересовался. Даже, где этот отец, — неизвестно. Ногин видя, что Кира приуныла, — они подходили к воротам шато и начинался подъем, чтобы рассеять ее грусть воскликнул: «Все хорошо! Бежим, кто скорей?! И потянул ее за руку. И они помчались как ураган, оба сильные...

С нее упал купальный халат. «Бегите, бегите, я подниму и догоню. И она как кровная кобылица, вынеслась вперед на широкий двор, к удивлению кур и фермерши.

\*\*  
\*

Несмотря на плохое питание, веселость не покидала главную группу гостей, — ее «средний класс». Имела эта веселость вероятно какие-то внутренние, скрытые причины... В этом прекрасном шато, удаленном от постороннего французского мира, образовался маленький русский мирок, где забывалось, хотя бы на время, и невзгоды и ущемление национальной гордости... Играла, может быть, роль недавняя победа над Германией... И таилась, может быть, подсознательная надежда, что наметившаяся эволюция Советской России пойдет быстрым темпом... Да и не изжили они, будучи молодыми среди войн и революций, свою «порцию веселости».

Сейчас эти гости занимались тем, что решили сделать ряд курьезных снимков... Четыре дамы в легких костюмах, а сзади них Ногин, с которого сняли рубашку и накрутили ему на голову: изображали пашу и его четырех жен. Потом решили, придумал Лукин, посадить на плечи тому же Ногину Элен, так чтобы она сидела у него на шее, свесив ноги на грудь. Элен согласилась не без замешательства. Ногин тоже, затаив улыбку. И представлялось это, словно какая-то мистерия. Улыбались. Глаза прятались. Суетились. Все было готово. Колдун налаживал аппарат. Ногин протягивал руку и подставлял колено для Элен. — «Я вам помогу и подсажу».

— А может быть, лучше из окна или со скамейки? — говорила розовая Элен...

И вдруг открылась дверь с треском, — дверь туго открывалась, — и появилась мать Элен со своими факирскими глазами. Произошло легкое замешательство. И этот снимок пришлось отложить.

— Что вы, что вы, господа, разве я чему-нибудь мешаю, или запрещаю Леночке. Она взрослая... — говорила мамаша, почувствовав что что-то расстроила...

— Решили идти играть в воллей-бол. Часть играть, часть смотреть. Это тоже была картина! Мужчины за пятьдесят. Дамы кроме Элен — солидные. Астраханец вовсе с одной ногой, а на другой деревяжка выше колена. Но зато, какой пафос игры! Желание и старание ударить и отбить мяч получше. Огоречние при неудаче. Жажда выиграть. Носятся. Бегают. Прыгают. Мешают друг другу. Ссорятся. Ахают, или вдруг останавливаются и смотрят, ждут: это астраханец со своей одной ногой падает. Помочь ему невозможно — не добежать. Он падает с шумом. Обычно навзничь. Потом поднимается, поправляет деревянную ногу и извиняясь говорит:

— Вот упал...

— Не ушиблись?

— Нет, — и игра продолжается...

Вредили себе пальцы, запястья, колени, щиколотки, плечи... Были мокры так, что жены вытирали мужей, что меняли белье. Уставали — не могли ходить по лестнице. Стонали. Но на другой день становились в строй.

При одном из таких ранений, очеред видимо пришла Ногину, он повредил себе сильно плечо. Плечо под лопаткой так болело, что он даже дышать не мог и сидел у себя на диване... А как раз компания собралась в город на местные скачки и мороженого поесть. Ногин отказался, не мог. Сидит один... С шумом открывается дверь, входит разодетая Кира.

— Пойдем!

— Не могу! Правда, не могу, дышать даже трудно, — говорил он ей улыбаясь, но не двигаясь. «Вот теперь можно было бы воспользоваться случаем», невольно подумал Ногин. «Попросить сесть рядом. Обнять слегка... — Жаль, что случаем-то не люблю пользоваться... Да и двинуться трудно. Нельзя же

обнимать и охоть...» И он продолжал смотреть на нее слегка улыбаясь и любуясь (явно).

— Пойдем, говорю! я за вами пришла!

Ногин только покачал головой и прищурил глаза.

Кира не верила, что он действительно не может ехать. По его внешнему виду это казалось невероятным. Кроме того, то, что она поднялась за ним во второй этаж в его « мужскую » комнату, казалось ей « большим шагом », дающим надежду, — а он сидит, улыбается и не двигается! Отказ его и раздражал ее и оскорблял ее самолюбие. Она попыталась еще раз его уговорить, потом вспыхнула и вскрикнула :

— Г...вы!!! (сказала без всяких точек). Хлестнула как кнутом!). — И тем хуже для вас!!! — И ушла. С шорохом. С шумом. Хлопнув дверью.

Ногин остался один. Сидел не шевелясь. В комнате еще звучал стук двери и шорох платья, витал запах духов и образ взбешенной Киры... Так прошел час. Улыбка все еще оставалась на лице Ногина, но померкла и застыла. Глаза приняли печальное выражение. Он остался сам с собой. Шорох платья забылся. Аромат духов был едва ощущаем и к нему примешивался запах пыли плохо метенной комнаты (сами гости мели). Все друзья его ушли. Чаю ему не дадут. Занимались этим дамы. Он закрыл глаза. Мысль потеряла формы и улыбка сошла...

\*\*  
\*

— Я вас не понимаю, Сергей Николаевич (Ногин), как это вы ухаживаете за Франей (полькой)? Она же ненавидит русских! И говорит нарочно только по-французски.

— Я знаю. Это ее право! А мне это смешно. Сама ненавидит русских, а сама приехала в русский пансион! Сама недавно спрашивала, знаю ли я русские солдатские песни. Это братская ненависть. Где-то внутри, за этой ненавистью есть чувство родства... Да я

за ней ухаживаю, как за всеми. У нее красивые ноги. И меня интересует также вопрос, согласна ли она будет принести себя в жертву « русскому варвару »... Заметьте, чисто теоретически интересует вопрос...

— Вам доставляет удовольствие так ухаживать за всеми ?

— Это невольно. Признаться, да, доставляет удовольствие. Да и не только мне, — и м то же. Чувствительность, чуткость женщины в области флирта изумительна. Никакой технически-совершенный аппарат « даже американский », не может с этим сравниться. Это художественно, захватывающе. Представьте огромный рояль со множеством клавишей. Вы ударяете по клавишу и раздается ответный звук... Форто, пиано, бемоли, дъезы, аккорды... Арии... Оперы... А если вы артист ? Что можно сыграть ? ! Какое удовольствие для вас, артиста ! А если рояль — живое существо ! Если рояль, сам артист (артистка) ! Вы представляете, что может получиться ? — Ногин говорил с воодушевлением и улыбался почти с блаженным видом... — Вам покажется анекдотичным, но я ведь исполняю « общественную функцию » ! Seriously. Существуют же резонеры. Они нужны. Они часто резюмируют, дают возможность осознать. Лебедев, например, немножко резонер. Я выдвигаю на « сцену » не первого любовника а потенциального Дон-Жуана, поэтa в своей области. Любовника в лучшем смысле слова, дающего надежду, дающего иллюзию, украшающего жизнь... Вреда же я никому приносить не собираюсь. Во всяком случае это редчайший случай « вреда » едва ли представится. Первый любовник несет с собой драму. И какое глупое название « первый » любовник, предполагается потом второй ? Мой потенциальный Дон-Жуан является стимулом, в худшем случае, может быть причиной семейной сцены ревности, повыпшающей ценность женщины, которую мы — мужчины — как-то забываем. Ей хочется жить, иметь эмоции, строить иллюзии... А влюбленная женщина, даже слегка влю-

бленная, просто очаровательна. Это распутившийся цветок. Сравнение женщины с цветком напрашивается... Что и естественно, — добавил он совсем серьезно, а потом продолжал в том же шутливом тоне. — Лукина, например, похожа на гроздь темной серени, Елецкая — на анютины глазки — целый букет, Ипатьева — на козью лозу в цвету, Кира — на куст жасмина в цвету, Франя — на желтый левкой, а вы — на розу, — добавил он с улыбкой.

— Спасибо, спасибо, — но роза эта увяла.

— Что вы, что вы !..



— Знаете, у меня на чердаке, на ферме, — летучие мыши гроздьями висят. Штук пятьсот, вероятно, — рассказывал Лебедев.

— Что вы? Неужели не боитесь, — спрашивали дамы.

— Нет. Да ведь они на чердаке, а не в моей комнате.

— Но к вам могут залететь?!

— И залетают. Редко. Ловят по стене, шурша крыльями, мошек и комаров.

— Вот спасибо! Я бы умерла от страха! Зачем же вы их пускаете?

— Да у меня одно стекло выбито. Не хочу заделывать, — прилетает ночевать ласточка. Одинокая. Одна осталась и спит на гвозде. Хотите их посмотреть? Днем они спят.

Дама, которая «умерла бы от страха», первая согласилась, а за ней и другие. Пошли всей компаней. Действительно на чердаке в тени по углам и у стропил висело великое множество летучих мышей, словно друг за друга уцепившись, массой или гирляндой.

— Какая гадость!

— Хотите спугну!?!

— Вы с ума сошли!!!

Когда спускались Лебедев предложил зайти к нему, « Угощу вас Вертинским ».

— А у вас граммофон ? ! Вот хорошо.

— Я-то его привез для английского языка для сына, но есть и другие пластинки.

Все вошли. Уселись на два стула и по кроватям. Лебедев достал шоколад, печенье, два стакана и воду и стал заводить граммофон. Началась песня-рассказ с удивительно выразительным аккомпаниментом рояля.

У высокого дерева  
Возле малой могилы  
В светлый день Благовещения  
Пели тихой псалом  
Бе-лые священники  
С улыбкой хоронили  
Ма-ленькую девочку  
В платье голубом.  
Тихо разливалось  
Пение погребальное,  
Кланялись березки  
У сухой межи.  
И над вечной памятью  
На слова печальные  
Улыбались дальние  
Васильки во ржи...

Все примолкли. Словно представляли себе родной, покинутый теперь, пейзаж, ржаное поле с васильками. Березки... И слова духовного « пейзажа » светлый день Благовещенья, тихий псалом, пение погребальное с Вечной памятью, — наводило грусть о прошлом, словно хоронили не неизвестную девочку, а какую-то дорогую мечту.

Следующая пластинка начиналась трагической « увертюрой » аккомпанимента и трагическим воплем :

Слава тебе, безысходная боль  
Умер вчера сероглазый король !!!

Было комично в этой песни, полной экспрессии и драмы, слышать ни о чем не подозревавшем муже дамы, который :

Трубку свою на камине нашел и  
На ночную работу пошел...

У него не было ни монархических верноподданных чувств, ни подозрений в неверности жены.

Пластинки следовали одна за другой, —

Я безумно боюсь золотистого плена  
Ваших медно-змениных волос !

. . . . .

О, как трудно любить в этом мире приличий !

. . . . .

Дальше шел знаменитый « Лиловый негр », со своим : « Где вы теперь, кто вам целует пальцы » и глупый, но чрезвычайно « бодрый » и смешной « Бразильский крейсер », быстрым темпом отбивая ритм и рифму :

Вы оделись вечером кисейно  
И в саду сидите у бассейна...

. . . . .

Раздался звон колокола на обед и Ногин, словами Вертинского напевая одной : « Только не на-до играть в загадочность ! » и другой крупной пышной блондинке : « Разве можно от женщины требовать многого ? ».. « Там, где глупость божественна, ум ничто ! » И та, проглотив « пилюлю глупости » улыбалась за женскую божественность.

На сладкое дали три сливы, сливы, которые Барсуков стащил для Киры с хозяйского дерева.



## Глава VI

Вечерами после ужина одни играли в бридж, другие сидели, разговаривали. Кто раскладывал пасьянс. И обнаружилось, что никаких ламп-молний не существовало. Были допотопные лампы на высоких мраморных с бронзой ножках линий на десять и освещали они плохо и часто коптили, а следил за ними, действительно сам Кашин — «молодой губернатор».

Раскрывалась дверь и входил своей медленной походкой Остап, проверить тут ли Лебедев. Тыкался в него мордой и уходил назад.

Иногда вечерами устраивали «Jeux de société», фактически это были юношеские игры старого времени. Играли в «пробку», а то в «рубль» (в монету), когда сдвигали два стола, делились на две партии и по крику (обязательно «капитана» партии): «Бобчинский, Добчинский, руки под стол!!» Противная команда, у которой был рубль под столом прятала его в одну из многочисленных рук. И потом по команде: «Бобчинский, Добчинский, руки на стол!!» — клали их на стол. Дальше надо было угадывать.

Ставили шарады. Были и очень успешные. С пафосом и волнением. С переодеванием во что только можно... Удачные «номера» потом на-утро даже снимали. Так, был снят англичанин, сидевший на поставленном на ребро огромном тазу и изображавший Диогена, а также Ногин, с толстым приделанным животом (подушкой) в напаянном китайском халатике Елецкой и с перевернутой медной полоскательницей на голове, с длинными усами из вязальной черной шерсти, — он изображал усатого мандарина. Принимали участие все, кто только мог и кто надобился: и Лукин с женой, и капитан, и Франя, и Шавилов... А кто не участвовал, — были зрителями.

То играли «во мнения», то надо было узнать задуманное слово, ставя вопросы...

А потом, часов в десять, шли пить вечерний чай. Далеко не все, ни губернаторов, ни губернаторш, ни Барсукова. Последнему не интересно было «хлебать пустой чай» и он заваливался спать. Спать он мог сколько угодно, как крестьянин зимой. Работать, вероятно, тоже без усталости. По словам благородной дамы — Кашиной, которая говорила в Париже Лебедеву: «А вечером чай или молоко и всякие там штуки», — оказалось никаких «всяких штук», а если хотите, то приносите их сами со своим же сахаром. Чай был жидкий, теплый и воды в чайнике не хватало. Можно было, но не всегда, выпить чашку молока, и Кира жадно следила, как бы кто не выпил две, или не взял сахару. Она не церемонилась остановить, не дать. Лебедев старался налить сыну молока не в чашку, а в боль. Кира молчала.

Здесь иногда Шавилова с чувством и любовью читала стихи или возникал спор философский, философски-житейский, редко политический. Художница — графиня де-Клок пыталась захватить общее внимание каким-нибудь монологом-рассказом из собственной жизни или из собственных измышлений. Упивалась своими словами. Надолго ей это не удавалось. Шавилов поражен необыкновенным познанием Чехова: во всех деталях его жизни и его произведений. Лукин вдруг притаскивал Зоценко и читал его с упоением и мастерством. Лукина, сжавшись в комочек, со смиренным видом следила умными глазами, при свете ламп блестящими как вишни, и не говорила ни слова. Все возражения при споре она делала внутри себя... Если была хорошая программа — ставили радио. Лежали собаки на матрасах и искали блох. Кира смотрела своими «дерзкими» глазами, она обычно молчала, так как в «интеллигентских» разговорах была очень слаба. Только однажды она высказала свою житейскую философию, что муж нужен «для дома», для детей, для общества, а для «сердца» можно иметь «сбоку».

— Да это же безнравственно... Так и дети могут быть от «сбоку».

— Зачем же?

— И муж тоже может иметь «сбоку»?

— Конечно. Надо только чтобы все было «гладко».

И казалось, что теория сохранения безупречного «фасада» и «вольности двора» считалась ею вполне нормальной и даже как бы «моралью общества» (высшего).

Расходились. Остап шел за Лебедевым. В первый раз получилась целая история. Он проводил Лебедева в его комнату и не хотел уходить назад в кухню, а когда Лебедев выгнал его, то улегся у двери прямо на полу темно, грязной лестницы. Лебедеву стало жалко его и он пустил его в комнату. Когда Лебедев лег, то Остап стал лезть тоже на кровать, к превеликому удовольствию Коли:

— Папа, оставь, посмотрим что он будет делать?

— Хорошо!

Остап залез на кровать и улегся за Лебедевым, у стены. Он желал быть как можно ближе к своему сюзерену. Пришлось его оттуда буквально стаскивать, за лапы, за тело, так как он оказывал пассивное сопротивление, угрюмо посматривая, а собака была здоровенная. Лебедев его стыдил: «Как тебе не стыдно, залез на кровать с грязными ногами...» Ему и в голову не приходило прикрикнуть и прогнать его вон. В конце концов, Остап улегся на коврик и это стало его местом. Одинокaя ласточка спала на гвозде. Это тоже было ее место.

\*\*

Пошел дождь. Кто не спал, тот сидел в зале-гостиной. Читали. Раскладывали пасьянс. Разговаривали. Играли в «белот» \*). Часть, главным образом дамы,

---

\*) Белот — очень распространенная карточная игра во Франции.

находились в кухне у Киры с Ириной. Вели свои « женские разговоры »...

Прибежала Кира к Лебедеву и говорит : « Идите в кухню. Посмотрите-ка что Коля читает ! »

Лебедев встал и пошел. Медленно вошел в кухню, будто случайно. На скамейках у стола сидели дамы и разговаривали. Среди их сидел Коля и читал маленькую книжку : « Double nocce de Margot ».

— А ты читаешь ? Что это ? Покажи ? — сказал спокойно Лебедев. Коля показал.

— Где же это ты достал ?

— В городе купил. Видишь что на картинке ? (Обложке). И написано : « Там-там » \*).

На обложке был нарисован какой-то негритянско-африканский рисунок.

— Сколько ж ты заплатил ?

Коля назвал довольно большую сумму.

— Это тебя здорово надули... Тут никакой Африки нет. Ни негров. Ни львов... « Double nocce de Margot », это значит : « Двойная свадьба Марго ». А Марго, то какая-нибудь горничная или продавщица из Парижа... Тебе интересна свадьба горничной ?

— Нет !.. То-то он на меня так странно посмотрел...

— Кто ?

— Продавец.

— Ну, я тебе деньги верну, — и Лебедев дал сыну деньги. — Сам читать не буду. Меня свадьбы горничных тоже не интересуют...

Вышло, что он же и пострадал !

Коля застенчиво улыбнулся — это была его лучшая улыбка.

\*\*  
\*

---

\*) Серия « Там-там » с рассказами очень легкого содержания.

В одно из после-обеда случилось просишествие, которое старались замаять. Произошло оно опять « со двора », там, где находилась « обратная сторона медали ». — Кира и Барсуков пошли гулять. Что произошло между ними — неизвестно. Только возвращается Кира одна. Глаза вытаращены. Волосы растрепаны.

— Скорей! Идите к нему, а то он с собой что-нибудь сделает!

— К кому, к нему?

— Да, к Николаю Ивановичу (Барсукову)!

— Да почему? Да что с вами? Да он же не маленький!

— Идите, говорю, идите! — по ее виду, крайне взволнованному, произошло что-то серьезное.

— А где он?

— Там!, — взмах руки вдоль дороги, влево.

Пошли, переговариваются.

— Роман что ли у них?

— Повидимому. Всё купаться вместе ходят...

— Да, они отдельно от других ходят.

Вдали фигура. Пошатывается. Пьян? Ближе под-ходит, бледен как смерть, голова в крови.

— Что с вами?

— Упал.

— Где? Как?

— Там, на камень.

Пришли в шато. Решили повезти к доктору. Барсуков то идет, то не идет. Тогда привезли доктора. И оставили их вдвоем. Доктор вышел.

— Ну что, доктор?

— Ничего. Я ему сказал, что надо сделать и рану промыл... А больше лечить не буду, — добавил он неожиданно и как-то неопределенно.

Барсуков потом ходил с повязанной головой и все его старались не расспрашивать. И всё, как-будто, вошло в норму.

\*\*\*

— Вы бы поухаживали, Сергей Николаевич, (Ногин) за Ниной Григорьевной, (красивая дама, брюнетка, имевшая обыкновение греться на солнце, за кустами в длинном кресле), а то она всё больше одна и ей скучно.

— Да я с удовольствием!

И Нина Григорьевна вошла в круг неунывающей компании. Стала играть в воллей-бол, и не плохо, ходить со всеми на прогулки. Повеселела.

— Нинү! где вы? Одевайтесь, воллей-бол! — кричал ей утром с фамильярной игривостью Ногин.

И высовывалось ее лицо, намазанное еще кремом.

— Сейчас! иду!

На прогулках он тоже держался около... Но через несколько дней она заявила Ногину с наивной откровенностью:

— Вы на меня, Сергей Николаевич не рассчитывайте. Я женатых не люблю...

— Что вы, что вы Нина Григорьевна. Разве существуют женатые или неженатые? Существуют вы, да я. Он и она, а всё остальное второстепенно, — отвечал он ей дружелюбно улыбаясь... Весь вопрос в том, — те ли это «единственные», которые созданы друг для друга.

— Нинү! — продолжал он звать. — Одевайтесь! Воллей-бол! — и высовывалось намазанное кремом лицо.

— Сейчас иду!

Но Ногин, считая что «миссия» его выполнена, уже больше на прогулках не старался держаться около.

\*\*  
\*

Звонок на ужин. Губернаторша, приятная старушка, шла с внучкой и пришепetyвала этак по «благородному». Это когда-то у нее гостей двести человек бывало... Театры устраивали... Молодые люди встречались и женились... Киса Полоцкая вышла замуж, да неудачно...

— Губернатор, маленький старичок, в узких брюках в полоску, грациозно за ней семенил. Со всеми здоровался. Всех выслушивал, наклонив голову. Он был очень стар и порывисто часто дышал. Слегка сюсюкал и сам себе поддакивал. Был чрезвычайно вежлив, а с дамами галантен. Принципов «старорежимных» в лучшем смысле этого слова. Как будто неглуп. Фигура колоритная... Теперь, конечно, очень стар. Грациозность его выражалась во всех движениях, в походке, наклоне головы, в поклоне, манере пожимать руку... Казалось, и поступки его должны были бы быть «грациозны».

Внучка же была просто очаровательна. Ей было лет пять-шесть. Звали ее Аленушка. Если некоторые называли «русской красавицей» Киру, то это больше по линии ухаживания, — то была здоровая баба, которая может дать «в морду»... Этот дерзкий взгляд с «безуминкой», резкость, грубость не подходили к типу русской красавицы. Вот Аленушка, другое дело. — Круглолицая, сероглазая, ясноглазая, с темными бровями дугой, грациозная и плавная во всех своих движениях: в игре ее рук, всего тельца, ножек, шейки. Как выразительны были ее большие глаза! Когда она бежала, можно было сказать: вот маленькая балерина: но какая! Естественная, не наученная. Она любила всех животных. И так хотелось ей погладить, поласкать сиамскую кошку. «Можно погладить вашего котика?» — спрашивала она и осторожно, нежно гладила. — Музыка! надеюсь, что ее брак не будет, несчастен, как был у Кисы Полоцкой.

\*\*

На ужин подали пирог с капустой и теплый картофель.

— Рыбки бы... Хоть бы пискарика жереного.

— А вы любите рыбу?

— Да, люблю!

— Я тоже. Ущицы бы из ершей! Помните стерлядку кольчиком, на волжских пароходах...

— Да !.. И какова уха !  
— И навага тоже хороша.  
— Хороша... У нас-то ее не было, — это ваша рыба  
— северная.

— Какой вкус ! Совсем особенный.

— Эх, рябчиков бы поесть... У нас их во дворе  
сначала в землю зарывали... Прелесть ! Горчат !

Но рябчики успеха не имели, рыба одолела.

— А осетрина ?

— Что и говорить !

— Вы знаете, я больше всего люблю осетрину  
малосольную, холодную с майонезом.

— А на пару, свежая — плоха ?

— Да нет, конечно.

— И икра тоже ! Что может сравниться с икрой ? !  
— астраханский казак не вытерпел, вмешался. Он  
происходил из одного из самых рыбных краев России.  
И астраханские казаки имели особые привилегии по  
рыбной ловле.

— Икра черная, знаете, бывает севрюжья, осетро-  
вая и белужья. И цена ей разная, не только по рыбе,  
но и по месту, хотя бы от той же самой породы рыбы.  
Наша куда больше ценилась, чем кубанская, да и  
донская ниже нашей стояла. А разницу между зерни-  
стой и паюсной, знаете ?

— Как же, знаем, едали.

— Не по виду.

— И по вкусу знаем. Едали.

— Не по вкусу. А почему паюсная, почему бывает  
зернистая ?

— По способу приготовления.

— Вот и нет ! Икра у живой рыбы — зернистая,  
а если рыба съ(ы)нтая \*) (вместо сонная), то всегда  
паюсная, зерно от зерна не отделите.

---

\*) В старом русском языке : «сон» раньше писался :  
«сънь». Твердый знак был глухой гласной и мог нести на  
себе ударение.



Лебедев за соседним столом, услышав слово : « съ(ы)нтая » воскликнул : « Боже, какая прелесть ! — Наконец-то ! » — все на него с удивлением посмотрели. « Твердый знак зазвучал ! Первый раз в жизни слышу. Сколько лет живу. Ять звучало и звучит, часто, а вот « ъ », только у болгар. У нас, первый раз слышу... »

— А много у рыбы икры ?

— Много. Треть ! (веса).

Все ахнули. « Неужели ? ! »

— Я вам расскажу такой случай. Не со мной он был, а с одним дедом. Была у нас ловля такая, — зимой через проруби. Опускались железные, стальные крючки остро-остро наточенные до самого дна (в прорубь).

— Это мы их продавали ! — воскликнула дама с голубыми глазами...

— Много крючков, — продолжал астраханец. — Без всякой приманки. Рыба идет низом, икру метать, за крючки цепляется. Поставил дед крючки... Потом приходит, тянет. — Что-то очень тяжелое. Подтянул к проруби, а в прорубь только один глаз и виден, настолько рыбина была велика. Он бегом в станицу, да в набат ударил. Привезли три воза навозу, чтоб по льду не скользить. Двумя верблюдами тянуть стали. Прорубь расширили... Ну и вытащили. Оказалась белуга весом в 69 пудов \*). А икры одной больше 20 пудов \*\*\*) в ней...

Так от пискаря до белуги дошли. — Сразу видно, что плохо кормят.

\*\*  
\*

У графини Ирины пропала брошка : три золотых ласточки с рубинчиками вместо глаз. Обратились к

---

\*) 69 пудов равняются 1.130 кг.

\*\*) 20 пудов равняются 327 кг.

колдуну — Лукину. Колдун принялся за дело серьезно. Он нарисовал план шато, двора и террасы и заперся в своей комнате. Еще с утра «работал» и после обеда тоже. Звали Лукина в воллей-бол играть (очень он это любил), — заперся со своим планом, не хочет...

Часа через два-три приходит взъерошенный. «Должна быть здесь» — говорит, и показывает на один квадрат воллей-болого поля. Поискал, поискал, — ничего не нашел и стал сам играть. (Поле было с неровностями, с остатками травы). Через несколько минут, (во время игры) на *указанном* колдуном месте игравший мальчик нагнулся и что-то поднял. Стал смотреть: брошка. Очень маленькая, золотая брошка с тремя ласточками, с красненькими глазками.

— Да эту брошку Ирина Алексеевна потеряла?

— Да, да.

И он побежал отдавать... И вся слава мальчику досталась, а колдуну — ничего. Лебедев старался в этом случае его славу упрочить; а ему отвечали: «Да, брошку-то Сережа нашел, а не он». О люди! Никакой углубленности!»

Но кто оценил и восхвалил, — это графиня де Клок... Вечером того же дня, она заявила Лукину, что у нее болит палец и просила полечить. После «смотрения в глаза», наложения рук и даже «дутья», — сеанс был публичный, — палец прошел: «Как рукой сняло».

Графиня впредь всё свое внимание обратила окончательно на Лукина. У него была жена, которая тоже могла иметь на него «кой-какие» виды... Действия же графини де Клок не лишены были по крайней мере, — «бесцеремонности». Нарядится. Надушится и придет к ним в комнату. — «Я-де пришла душу отвести», обращалась она к Лукину. И сидит и шоколад ест, и фрукты ест, и печенье ест, глаза щурит и говорит, говорит, говорит, и нога на ногу заложит, — явно для привлекательности. А ноги толстые и нижняя юбка видна... И Лукину льстит, а на жену Лукина и не смо-

трет. Час говорит, два говорит. Весь шоколад съела, печенье доедает. — А им деться некуда, и комната маленькая и гулять хочется. Уж на что Лукин, — приятно, что графиня так высоко его расценивает, — и тот глаза закатывает, весь бледный...

А то пришла, просит Лукина в свою комнату : — заболела. Оказалось коленка с внутренней стороны « сильно заболела ». — Тот лечил. А коленка надушена.

Потом заявила, что оказывается она-де не графиня, а маркиза, в виду того, что старшая ветвь рода « только что вымерла » и муж ее, бывший представитель младшей ветви, таким образом стал маркизом. Какую-то вырезку из газеты показывает и сама жмурится от удовольствия.

— Значит ваш муж на том свете стал маркизом ? — спросил, не выдержав, бывший тут Лебедев.

— Хотя бы да... Я верю, кроме того, что душа живет...

— Возможно, но никаких пожалований и производств душа не получает и ими не интересуется.

Лебедева графиня де Клок раздражала... Подлинно : « Недорезанная буржуйка », — думал он. « И ничему не научилась. Из-за таких типов и революции бывают... Вставить ей павлиньи перья, пусть радуется и любит... А вслух : тоном мягким, с улыбкой и даже как бы с удивлением : « Вы знаете, мне совершенно безразлично, — князь-ли кто или крестьянин. Важно, что за человек. И даже больше того, в так называемом « аристократе » — можно чаще встретить дегенерата.

« Социалист какой-то ! — подумала графиня, а вслух :

— Аристократия является хранительницей традиций, она более патриотична...

— Среди нас, пансионеров, говорил Лебедев, — есть две уроденных княжны : одна светлейшая, другая рюриковна, — одна вышла замуж за немецкого

полковника, сын Фриц, дочь Хельда, оба лютеране, порусски не говорят; другая вышла за французского полковника, дочь Эвелина — католичка... Во время оккупации Франции немцами во главе прогитлеровской акции среди русских стоял кн. Горчаков. Правда с другой стороны, «возглавлял» русских, присланный немцами казак Жеребков... Не подумайте, что я сужу огульно... С Мининым ведь был и князь Пожарский. Но я просто противник каких бы то ни было преимуществ по рождению. Вот и всё. — «Что я к ней привязался... Даже ее забил!» — подумал Лебедев и свел разговор на нет.

Впоследствии он узнал, что де Клок никогда в России графский титул не имели, но, правда, французская ветвь таковой носила.

\*\*  
\*

Кира приготовилась мыть голову. Она стояла у колодца с распущенными волосами. Около дымилось ведро с горячей водой. Колодезь находился в каменной узкой пещерке. И Кира собиралась качать холодную воду. Подошел Лебедев чтобы помочь. Она уступила ему ручку насоса.

— Вы знаете, волосы женщины по-старинному считаются табу? Замужняя женщина не может ходить «простоволосая», а вы их распустили на соблазн другим...

— Ну, вас, кажется, не очень-то соблазнишь!

— Почему вы так думаете? Смотря кто. Я просто враг афишированья. Предварительная часть романа может происходить совершенно скрыто, не только от других, но в скрытых формах вообще. Но, конечно, нельзя забывать, что я женат. Выбить из этой «колеи» не так-то легко серьезного человека.

Лебедев стал качать. Полилась со вздохом из насоса крупная холодная прозрачная струя воды, слегка мерцавшая, дивная по своей простоте и прелести.

— Как красива эта вода... И как необходима, — сказал он.

— Без воды не обойдешься... А вы что-то поэтически настроены!

— Это меня распушенные волосы в поэзию «ударили»... А их стригут теперь, — поэзию стригут... довольно воды?

— О да, спасибо!

\*\*  
\*

Кашин чистил свои лампы на каком-то сундуке. Подрезал фитили, наливал керосин. Лебедев к нему подсел. Кашин был явно одинок, и Лебедев, при случае, составляя ему компанию, чтобы хоть немножко это одиночество скрасить. И они перекидывались словами или замечаниями. Особых разговоров тоже не вели.

— Скажите, Александр Иванович, правда что ваша теща очень левая? — спросил Кашин.

— Моя теща? Почему вы так думаете? — с удивлением переспросил Лебедев. — Никакой особой левизны не замечал.

— Да, но она как-будто бы отказалась подписать верноподданическое письмо с поздравлением к восьмидесятилетию Императрицы Марии Феодоровны? (Находившейся в то время в Дании, «в эмиграции»).

— Это было давно! Верно. И сказала, что она с ней «не знакома». И для этого нужна была большая смелость, так как находилась среди отъявленных зубров, — вроде вас — улыбнулся Лебедев.

— Ну вот видите! Значит правда!..

— Ах, уж эта русская страстность! Надо уважать мнение другого, — сказал Лебедев нараспев. Вот вы были губернатором, а моя теща земским врачом. Кто принес больше пользы? Ведь трудно сказать, — и он снова улыбнулся. — А знаете ли вы, например, что моя теща за эту войну получила «Croix de guerre»

(Военный крест), а мы с вами нет. Ей было семьдесят. И она ездила по Франции и лечила сбитых немцами авиаторов спрятанных населением, рискуя жизнью и не имея права практики во Франции. Вот расскажите и это вашим друзьям...



Заболела Шавилова. Кира прибежала к Лебедеву взволнованная. Несмотря на свою резкость, граничащую с грубостью, у нее было доброе сердце. Лебедев пошел. Если Лукин считался лекарем путем наложения рук и дутья, то Лебедев был советником по части нормально-медицинской. (Нельзя забывать, что город был в семи верстах, а телефон в двух). Когда Фриц разбил руку, — к нему, Барсуков — голову, — сначала к нему.

Лебедев вошел в комнату. Набилось народу, даже удивительно. Шавилова, маленькая грациозная женщина, лежала на большой и казавшейся для нее слишком большой и слишком высокой кровати. Она пожелтела, глаза были какие-то желто-зеленовато-вишневые. От боли она уже не обращала внимания на свою малую одетость. Капли холодного пота выступали на лице. Видимо очень страдала. Народ ей был безразличен. Около стоял беспомощный муж, — это она была его постоянной нянькой и перемениться ролями он не мог.

В углу уже находился Лукин и крутил шариком над лекарствами. Лебедев запомнил Шавилову, — знаком он был поверхностно, — по одному ее выражению: что-де «существует мистика обиденной жизни» — ему это утверждение казалось и оригинальным и интересным. Она, видимо чувствовала и «питалась» этой мистикой...

— Что болит у вас? — спросил он, она показала на область печени. Кроме того, весь вид ее был явно «печеночный».

— Припадок печени, — сказал он Кире. — Грелку или горячую бутылку. Лучше послать за доктором. Он пропишет Агохолин-Зизин пить с горячим Виши натошак и на ночь. Но рисковать нельзя. У вас есть «feuille de maladie» (лист социального страхования) обратился он к Шавилову.

— Есть.

Приехал доктор, оставили больную, мужа и доктора одних. Доктор прописал Агохолин-Зизин пить с горячим Виши натошак за полчаса до всякой еды и лежать.

— Софья Владимировна (Шавилова) ничего принимать не будет, — вот увидите, — говорила Лукина.

— Почему?

— Из упрямства, своеправия.

— Вы будете принимать лекарство?

— Нет...

— Почему?

— Ну, где там, за полчаса до кофе, да еще лежать...

— Да не надо за полчаса. И за десять минут хорошо. Встаньте, сразу выпейте с горячим Виши Агохолин, и пока уберетесь, вскипятите кофе, — десять минут прошло. А лежать не обязательно — уговаривал Лебедев.

— Увидите, что не будет (Лукина).

И не стала.

\*\*  
\*

Приехал молодой человек, лет шестнадцати-семнадцати. — Халевич. Усики пробиваются. Ходит козырем. В ученьи, вероятно, не-лев. И вдруг заинтересовался он Таней. Таня — девочка лет двенадцатитринадцати, нюня и плакса, ко всем приставала, висла на шее и на всех обижалась. Ходила небрежно одетая, лохматая... И какое случилось с ней преобразование! — Небрежность и лохматость исчезли. Плаксивость

тоже. Цветок в волосах. (Ну, не всегда). Откуда-то появилось легкое кокетство, натуральное, не лишённое грации. Появилась улыбка томная, хотя и кривоватая, но улыбка всегда приятна. В глазах, тенденция на загадочность.

Расцвела, буквально расцвела. Ходит, словно драгоценным нектаром наполнена. И откуда это умение в « тактике » !..

Все с улыбкой наблюдали этот флирт. Но кто обеспокоился, так это Кашина.

— Смотрите, господа, за ними смотрите! Кабы он « чего »... Смотрите, кабы он « того »...

— Что вы, что вы, Мария Ивановна! Да они же дети, хорошие дети... Первая любовь...

— Знаю я « этих детей », « эту первую любовь »! Смотрите, пожалуйста, как бы чего не вышло...

И Танину мать взволновала только. И даже другие слегка посматривать стали...

Но страхи были напрасны. Никаких « того », никаких « чего » не случилось. Таня почувствовала свою « значительность » и с искусством и осторожностью « вела игру ». Не удалялась на прогулках, — ходят разговаривают (« И о чем это они ? »...) Халевич — вел себя как истый кавалер. Мать быстро успокоилась. Но Кашина не угомонялась. И сама следила словно « с жадностью » и других просила...

Она даже Колю с Хельдой подозревала в садистических наклонностях.

— Александр Иванович, — сказала она при встрече с Лебедевым. Знаете, что я заметила... ваш Коля-то...

Глаза у Лебедева стали сторожкими...

— Ваш Коля-то... Наблюдала картину: Хельда лежит, а он (и она сделала паузу)... По ней ходит!

Лебедев поднял брови.

— То-есть как? Ходит? Да ведь ей должно быть больно? Он же должен соображать... Что-то уж очень



неправдоподобно. Может быть вы издали что-то не так заметили?

— Заметила, заметила... — и мерцали ее серые выпуклые глаза.

— Спасибо, Мария Ивановна, я узнаю. Я послежу.

Но Лебедев не поверил. Коля его был еще «ясен». Делился с ним. Душа его не имела никакой мути. Иногда он переругивался с Хельдой в стиле «rustique» («деревенском»): «Vache» \*) (корова)! «Taureau» (бык) отвечала она. Но все это было невинно. К концу отпуска Хельда, правда, была слегка «тронута». Из-за большого стола, где она сидела, она смотрела на Колю, который сидел за малым столом со своим отцом, — и, когда Хельда встречала глаза Коли, то двигала ногами, розовела и улыбалась, признаться, довольно глупо. Коля же в ответ лишь чуть ухмылялся с легким самодовольством в свои воображаемые усы.

— Ваш сын, кажется, одержал победу, — заметила Лукина.

— Да я уж вижу !..

Но Коля, по существу, не обращал никакого внимания. Не искал встреч. По утрам занимался науками с отцом, а рядом лежали две собаки, потом все вместе, отец, сын и собаки гуляли. Коля даже с детьми не очень «водился». Участвовал со взрослыми на больших прогулках, катался на велосипеде, а вечером, если отец задерживался за бриджем, приходил с ласковой улыбкой к отцу проститься.

— Ты молоко пил?

— Да.

— Боль?

— Да.

— Ну, иди, с Богом!

И отец целовал сына, слегка обняв его правой рукой.

---

\*) Коля, конечно, не учитывал, что «vache» служит у французов и бранным словом.

— Поцелуй своего папочку, поцелуй! — приговаривал капитан.

\*\*  
\*

Входит Лебедев в свою комнату на ферме, где маленькое окно, где толстенные стены и чуть светло, куда вела пыльная лестница с заворотами. И видит, у него на кровати сидит... Кира.

У нее был какой-то странный вид, словно чем-то полна была и глаза ее зеленоватые и смотрели и не смотрели. Что-то тусклое было в них, неопределенное, остановившееся... Кровать была низкая, так что и встать-то с нее было трудно. Кира сидела глубоко, прислонившись к стене. Она курила. При виде Лебедева — не двинулась.

— Вот приятный сюрприз — сказал Лебедев с дружелюбным видом и словно подшучивая над создавшимся положением: над собой, над нею, над низкой кроватью, над сумерками в комнате...

— Я пришла посмотреть, как вы устроились, не надо ли вам чего... И я устала...

В это время с шумом и топотом вверх по лестнице вбежал Коля и за ним, стуча своими коготками — Леда. Они были большими друзьями. Слыша шум, Лебедев подал руку Кире и она встала. Леда повиляла всем и каждому хвостом и всем улыбнулась и направилась к Коле, который из ящика комода доставал ей кусок сахара и печенье, да и сам поел.

— Ну я пойду. (Кира)

— Спасибо.

Так и не узнал Лебедев — зачем она приходила.

## Глава VII

К концу каникул темп жизни ускорился. Хотели «насладиться» до максимума. Делали более дальние прогулки. Играли еще азартнее в волей-бол. При купании бросались прямо с берега в котловину. Количество снимков дошло до сотни. Симпатии возможные, потенциальные, стали обнаруживаться, уже существующие — принимать формы более тесные. Некоторые выходы можно было назвать «смелыми». Так графиня де Клок таинственно заявила, что она опять больна и пригласила Лукина-колдуна в свою комнату. И выяснилось, — всё выясняется, — что вот уже двадцать четыре часа, как она не может... делать свои маленькие делишки. Как он ее лечил, куда дул и накладывал руки — «техническая сторона» осталась тайной. — Но вылечил...

Лукина, колдунова жена, с сиамским котиком прогуливалась на террасе перед замком с бароном... Беседовали они и барон котика гладил... А после Лукина заявила, что наконец она встретила «подлинного аристократа». Читай, не только по фамилии, но и по своим качествам.

Даже прекрасная Елецкая, такая тихая и скромная, с глазами как крупные цветки анютиных глазок, с ресницами, как ивы у омута, пригласила Лебедева, после бриджа, вечером — «посмотреть ее комнату». Не зажгла огня, — светила луна. Обои были синие с золотом. В глубине альков с девичьей кроваткой. Они стояли рядом...

— Прекрасно!.. А вы еще прекраснее — сказал Лебедев (не мог удержаться). И слегка пожал, как стояли, своей опущенной рукой ее руку.

— У вас кто-то есть!? — вдруг послышался скрипучий, с подозрением, голос Кашиной (они не закрыли за собой дверь). «И откуда это она» — подумал Лебедев. Словно баба-яга. Не доставало, чтобы влетела сюда на помеле ».

— Со мной Александр Иванович — сказала Елецкая ровным голосом.

И они вышли.

На другой день Елецкая во время прогулки и привала отозвала Лебедева в сторону :

— Вы мне хотели что-то сказать, Александр Иванович ?! — и села на камень у темно-зеленого поля люцерны. Слева лесок. В нем попалась осинка, и ветерок трепал ее листики...

Елецкая ждала ответа. Стройная, маленькая, в желтом платице, которое так шло ей. Разрез уголком показывал смуглое тельце. И глаза бархатные, окаймленные густыми ресницами, смотрели с внутренним волнением, снизу вверх...

« Соблазн какой-то — думал Лебедев... Что ответить ? » — Вспомнилась Россия. Он гимназист, она гимназистка. И так — в поле... А мысли тогда были чище... Подарить цветок или листик со значением вместо ответа, — но все значения забылись.

— Как много изменилось, — начал он вслух, продолжал свои мысли, — не так легко сказать. Надо говорить только правду... Мы увидимся в Париже ? Где вас можно встретить ?

— Я бываю на Дарю в церкви...

Если перед отъездом тонус жизни повысился и веселости прибавилось, то с другой стороны, у некоторых появилась и грусть и задумчивость в глазах. — Жаль расставаться. Жаль окунуться опять для большинства, в нудную неинтересную работу. Лебедеву больше всего, пожалуй, было жаль расставаться с Остапом. Друзей своих он увидит в Париже, а Остапа нет. У него есть хозяин, который его любит, и Остап даже спит у него на кровати... И Лебедев стал чаще, как только можно, брать с собой Остапа. Утром, после кофе он сидел обычно перед шато, куда Остапу не полагалось, и читал газету. Теперь он брал его с собой, пока дамы не уберутся, не появится Кашина.

Он сидел в длинном кресле, читал газету, а Остап,

видя что его сюзерен сидит, занимался обследованием террасы и дальше сада. Всё было обнесено стеной. Остап регулярно возвращался посмотреть, тут ли Лебедев и глаза его загорались радостью и верностью. Как красивы были они в этот момент! «Как можно не любить такое животное», — думал Лебедев, кивая ему и говоря: «Да, да я здесь»!.. И вдруг опять появляется Остап и кладет у ног Лебедева... цыпленка!...

— Ты что, с ума сошел?! Где ты его поймал (ведь сад был окружен стеной). — Нельзя, нельзя — начал он наказывать Остапа снятым с себя ремнем, показывая на цыпленка. Бил, правда, не очень сильно. — Пойдем! — и Лебедев взял цыпленка и пошел на кухню к Кире.

— Посмотрите, что он наделал!

— Ты что наделал?! На, смотри, — совала она в нос Остапу цыпленка и грозила ему пальцем.

Остап имел очень сконфуженный вид. Кира небрежно бросила цыпленка на стол.

— Я за него, (Остапа) уже заплатила 3.000, он задавил трех кур и пять цыплят!

— За этого я плачу! — сказал Лебедев.

— Нет, ничего...

— Как ничего, я плачу, моя вина, Остап был со мной!

— Не надо, этот цыпленок не «зарегистрирован».

— А-а — неопределенно проговорил Лебедев... Ну, давайте я его выброшу.

— Не надо... Мама съест, — добавила она и неопределенно улыбнулась.

«Выгода получилась», — подумал Лебедев.

— А ты, шельмец, пойдем гулять! — сказал он вслух, снимая со стены его поводок... Остап заревел от радости, стал на дыбы и положил лапы Лебедеву на плечи: и простили и гулять ведут. Стали они спускаться по аллее к воротам. Аллея была врыта с краю, во врытой части, между липами росли коротко постри-

женные буксусы и высота их была на уровне земли сада-фермы. И, неожиданно, — на буксусах... сидит утка, прямо на высоте носа Остапа. Остап остолбенел. — Еще этого не хватало! А утка сидит и на Остапа смотрит. А Остап как вкопанный на нее.

— Ну и дурак же ты! Иди! Это обыкновенная домашняя утка! — И Лебедев оттащил его от соблазна... А дальше, вдруг, с быстротою молнии промелькнула кошка. Остап рванулся, вырвал поводок и из рук Лебедева и стоял очумелый, язык в сторону у дерева, на котором теперь сидела кошка.

— Ты совсем сегодня с ума сошел! Иди, дурень, — тащил его Лебедев за ошейник. — Это наша кошка. Ты ее каждый день в кухне видишь, — и ничего!



Гуляли. Теперь, под конец отпуска, гуляли еще больше, ходили еще дальше. Веселой дружной компанией. Место было красивое, То поле, то холмы, то лесок, то и лес. — Жаль в лесу березок нет. — Полевые, проселочные, всем памятные дороги. Одинокие старые лозины у края. Знакомый с детства лопух и можно бросить его репейник в даму, к которой чувствуешь симпатию. Подорожник, белый клевер, просвирка, гусятная травка, колючий татарник. Воробьи, которые стали уже собираться в стайки. А вот там, на горке, «неприступной» куртина сосен, — добраться до нее и полежать, полюбоваться видом. А добраться-то не легко, всё загорожено. Вынырнула красивая вилла среди маленького парка. На воротах надпись: «злая собака». А то ферма. Медленно думающие коровы, которые провожают вас глазами. Телята подходят ближе. Петух насторожился, не собираетесь ли вы у него отнять любимую курицу? Ежевика поспела, можно полакомиться. — Французы не едят. Правда, не так уж вкусно. Копенки скошенного и связанного в снопики хлеба кучками, колосом вверх, а не крестцами.

А вот и заблудились. — Пошли смотреть знаменитый дуб за 15 верст, а нашли лишь его гладко спиленный пенёк, — и тут французы надули! А на обратном пути стали сокращать и сбились. Вышло ещё хуже. Ногин с Франей зашли на ферму спросить дорогу в шато. Пусто, Никого. Даже собаки нет. Покликал Ногин: есть ли кто? — Молчок. А Франя его манит знаками, стоит около закуты. А в закуте через щель видно, огромная свинья. Увидев их, смотрит своими свинячьими глазами и тихо хрюкает. А Франя смотрит на нее расширенными зрачками, как кошка на большую мышь. Даже странно. Ногин подошел поближе, плечом к плечу — не отстраняется. И волна интимности как бы соединила их на этой одинокой ферме, словно и ферма их, и свинья их, и они друг друга...

— Зарежем, Франя, свинью, будем есть окорока и спать потом на печке, — сказал ей Ногин по-русски.

— Хорошо, — ответила она.

— Да вы по-русски говорите?!

— Плохо. Трошечки.

— Ничего. Буду приходить вас учить. Где вы живете?

Та адрес сказала и добавила:

— В субботу после обеда (уже по-французски).

— Добже! — это уже Ногин показал свое знание польского.

Леда во время привала в лесу стала усиленно рыть яму. Словно гнездо-логово готовила. Вырыла и легла. Остап на нее смотрел, но участия не принимал, держался около Лебедева... Видно было, что ему хотелось пить. По дороге, в заброшенной ферме, в их знаменитом «мар»\*), застоявшемся, плесенью покрытом, Остап напился, жалко было на него смотреть. Лебедев ему не советовал: «Дам тебе чистой!» Но тот пил, поджав хвост. Леда тоже слегка похлебала...

---

\*) «Mare» — вырытая яма для дождевой или подпочвенной воды, где пьет скот, плавают утки.

А потом, — при последнем привале по дороге в шато, Остап вдруг стал усиленно ухаживать за Ледой. Первая его попытка была груба. Леда показала ему зубы и чуть не укусила. Лебедев тоже прикрикнул и посадил Леду у своих ног. Тогда тот переменял тактику. Он подскакивал к Леде, глаза его блестели, шерсть на голове и уши «наершены», и, приседая на передние лапы скачком, и потом отскакивая, приглашал ее за собой. И снова вперед, лизнет ее морду и опять зовет: «Идем Леда! Встань! Бежим играть! Жизнь прекрасна! Я люблю тебя и желаю... Смотри какое солнце! Поля! Лес! Давай погоняемся друг за другом. Любовь, — это всё! Самое главное. Самое прекрасно! Забудь остальное!..» Она же сидела, как египетский сфинкс, прищуря глаза и делала вид, что ничего не понимает и была совершенно невозмутима и недвижима. — А какой красавец за ней ухаживал! — «Она любит только фокстерьеров». Вспомнились слова Кашиной...

Лебедев опять остановил Остапа и заставил его лечь с другой стороны от себя. Тогда тот стал лизать ему голень, да как рьяно! Элен скривила гримаску безразличия.

— Идем, — сказал Лебедев Остапу. — Извините нас, господа, другим. И побажал по дороге в шато. Остап бросился за ним, радостно прыгая и всё забыв. А шагах в десяти сзади, трухи-трухи, Леда.



...Пропал Барсуков! Нету! Кира ревет. В слезах. Глаза набухли. Стали искать. Поискали, поискали, вернулись. Где искать? Но вот пришла весть: в город ушел, там обедал, сидит и виски пьет. Почему виски? — Водки в ресторане не было, — решили. Другие пошли купаться. Кира не идет...

Сумерки... Ужинать не вышла, а от вечернего чая в кухне скрылась. Ирина ее заменяла. А потом, когда



все ушли, — вернулась. Все спать легли, а она двери не запирает. Лампа горит. Черный кофе пьет. Курит. Ирина тоже курит. Дым. И чистят машинально зеленую фасоль.

Вдруг во дворе Барсуков. Входит да и говорит:

— Дайте мне по морде!

Обе сразу приосанились. Особенно Кира — да и говорит:

— Дай ему, Ирина!

Та, недолго думая хлясь смаху ладонью по щеке.

— Прошло?

— Нет!

Тогда сама Кира встала, да как кулаком свистнет, — тот с ног долой... Встал.

— Прошло?

— Прошло! — говорит. А сам волком смотрит. Глаза так Киру и сверлят. Все, казалось, кругом этих глаз вертится, крутится. Если бы была Кира овечка, давно бы он утащил ее в свое логово, если бы она была волком, бросился бы и растерзал...

Молчание. Потом Кира говорит: «Иди Ирина... Я сейчас приду, только уберусь... (Обе они спали в билиардной). И Ирина, слегка потоптавшись, ушла. Барсуков стоял бледный, теперь еще более побледневший. Что его ждет? Они остались наедине. Ночь. Тусклый свет керосиновой лампы. Большая кухня: странная, «чужая», полутемная. Широкий грязный стол, лавки... А дверь во двор еще открыта и там ночь... И так тихо! — Громче громкого! Глаза его, горевшие как угли, следили за Кирой, запиравшей шкаф...

— Дурак я... был! — сказал он странным голосом, словно в нем боролось еще непобежденное желание и предрешенное теперь поражение.

— Нет! — ответила она.

И опять пауза... Это «нет» сильнее было чем долгожданное «да»... Она же двигалась, как обычно. Как будто ничего не случилось и ничего не случится... Прошла совсем близко от него, не взглянув, но обдав

его « женским теплом ». Закрыла на задвижку кухню, как всегда. (Кухня запиралась изнутри). Взяла электрический фонарик и, нагнувшись и подставив руку ладонью у стекла, задула лампу.

---

Прошло полчаса. И слышен был скрип и видна была тень, промелькнувшая словно случайно... И спали в шато... Но не все... Тихо скрипнула дверь. И корявые руки мужчины обхватили женское тело...

— Не надо так сильно, — послышался шопот... Меня не несите. Уж очень тяжелая я...



Остап словно понимал, что предстоит время разлуки со своим сюзереном и не отступал ни на шаг, а накануне даже отказался идти есть, когда его звали. Лебедеву пришлось спуститься в кухню с ним, сидеть там на лавке и говорить: « Ешь, ешь! и он небрежно и быстро ел и подошел к Лебедеву, — дескать, « готов », я в твоём распоряжении », а Леда еще что-то доедала в его миске. — И Лебедев возвратился в свою комнату и сел писать. Остап лег у стены, вытянувшись, как окошел, подчеркивая этим свое печальное состояние. Лебедеву тоже было тяжело с ним расставаться, и он рассматривал напоследок его прекрасную гордую голову, длинные-предлинные кудрящиеся блестяще-черные уши, темны-рыжие крапины над глазами, темно-желтые мазки на лапах и внизу морды, а сам весь остальной блестяще-черный. И Остап, чувствуя взгляд, подошел и положил свою морду на колени, уставив угрюмый с безуменкой бесконечно преданный взгляд на своего сюзерена.

« Ты мне обслюнявишь брюки », — говорил ему ласково Лебедев, глядя ему голову, трогая уши... « Прощай мой верный рыцарь. Скоро уеду. Кто будет тебя

так ценить и понимать, как я? Гладить твой лоб, шелковые уши... » А Остап уж и лапы положил на колени, вытянув морду к лицу, глаза в глаза... « Иди, иди ! Нельзя ! » И осторожно, чтоб не обидеть, Лебедев снял его с колен...

« У человека с собакой может быть какая-то мистическая связь », — думал Лебедев. « Если бы я остался с ним, он бы так привязался, что даже после смерти его « тень » следовала бы за моей, его душа за моей душой... »

Нарисовать его сюзерена со шпагой, в черном плаще на красной подкладке в широкополой шляпе таинственно идущего среди бури и молный, и за ним след-в-след, огромного черного Остапа.

Что в нем хорошо, это чувство собственного достоинства и сознание своего « права ». Он служит верой и правдой свободно выбранному им сюзерену, становясь его рыцарем и оставаясь сам рыцарем. Все другие ему безразличны. Даже Кашины, у которых он жил... Какое чувство обиды и попранного права было в его низком редком лае, когда барон выгонял его из столовой, куда Остап вошел узнать, — здесь ли его избранный. Он ругался с бароном как равный с равным, считая даже барона за выскочку и невежу.

\*\*  
\*

Замечались сборы к отъезду. Остался, для большинства, один день. Рассчитывались с Кирой в кухне. С конфузливый видом давали наградные ее помощнице Графине Ирине и Иван Иванычу — повару. Даже волейбол забыли.

Ногин шел с Элен перед шато. Она просила... погадать.

— Да я вам так скажу. В этом году, наконец он вам скажет : « Элен, я люблю вас, — будьте моей женой »... И у вас родится девочка.

Она смотрела на него во все глаза и как-то при-

молкла. В это время открылось окно второго этажа и показалась Франия: «Пожалуйста, бросьте мне, — обратилась она к Ногину, — «Я "что-то" quelque chose забыла на скамейке»...

Это «что-то» оказалось лифчиком от купального костюма. Ногин взял его, поднес к губам (Элен только ахнула!) и ловко бросил в окно. Франия осталась стоять у окна несколько секунд, смотря на Ногини, и потом скрылась в глубине комнаты...

Открылась дверь с треском, показался артиллерийский капитан. Он повернулся и закрыл дверь со старанием. Была видна его солидная спина.

— Вы знаете, кто это? — спросил Ногин у Элен.

— Знаю, конечно.

— Это: — «Волга впадает в Каспийское море»...

— Да?! — Почему?

— Догадайтесь...

В это время капитан подошел к ним.

— А вот дверь оставить открытой не сможете...

— обратился к нему с улыбкой Ногин.

— Так нельзя же. Просили закрывать. Зачем же оставлять открытой? — один улыбался, другой смотрел с недоумением. Подошел Лебедев.

— О чем, господа, спорите?

— Да вот... сможет ли капитан войти и оставить после себя дверь открытой?..

— Это они от зависти шутят, — сказал Лебедев. Он остался с Элен, а Ногин пошел с капитаном.

— Вы знаете, — сказал Ногин серьезно, — Элен выходит замуж!

— Почему вы так думаете?

— Да это я ей сказал, но это верно!

— Ааа?

— Надо будет сделать ей подарок. Сложимся компанией. — Капитан задумался. Видимо не очень хотел раскошеливаться, но поскольку «noblesse oblige» он промолвил:

— Что ж... — и после паузы, — можно сделать маленький... (заминка), а можно и большой (подарок).

— А можно и средний, — добавил к этому Ногин.

— Ну, я иду в огород, — сказал капитан, и они разошлись.

Огородом капитан очень интересовался и даже фермерше давал какие-то советы. Солидно. С паузами. А фермерша смотрела на него во все глаза, рассматривая его лицо, то глядя на руки, которыми капитан изредка, но энергично себе помогал. Он руку в сторону, она глаза за рукой в сторону. Он руку вниз к земле, — она и голову нагнет, за рукой следит. И слышно было : « Сорную траву следует полоть, так как она поглощает питательные соки... » Она ему в рот смотрит...

Все советы были добротны, ясны и бесспорны.

Капитан, видимо, вообще любил природу. И на прогулках, например, не пропускал случая сказать : « Смотрите, господа, какая луна, — полнолуние » (или там что). А то сорвет листик, травку и к даме : « Скажите пожалуйста, — какое это растение ? » А сам, глаза маленькие, хитренькие, довольные, улыбку сдерживает. Ну, дама, конечно — бац в лужу со своим ответом, а то просто незнанием отговаривается...

...И если бы всё « шло нормально », то, когда-то молодой капитан с Владимиром (с мечами) и полный служебного рвения, был бы теперь генералом (никакого сомнения), — не то что эти « стрекулисты », которые над ним иногда подшучивают.

\*\*  
\*

Собрались в последний раз всей компанией в город. Дамы довольны. Хотя русский мужчина и галантен по натуре, но « вял ». — А в данном случае должен ухаживать по обязанности. Да и мороженое и пирожные их привлекали. Возможность нарядиться. Показать себя. И Кира, нарядная, довольная, оживленная, в широкополой шляпе, в длинных перчатках, ходила

своими маленькими шажками плавно неся свое крупно «играющее» тело, так, что «стакан не прольет». Она была хорошо причесана, что далеко не всегда с ней случалось. Голубые зеленоватые глаза ее резко выделялись на загоревшем лице. Глаза «дерзкие» в лицо смотрящие... А попробуй подойти к ней посторонний, непрощенный, — то голова высокомерно вскинется, глаза презрением обдадут. Сожгут, и тот опаленный отскочит. А то еще по физиономии даст. И сила в этих плечах большая и стеснения мало.

Но против кириной поездки запротестовал... Барсуков. Какая смелость! И какое право? И как запротестовал, — явно! Входит. Топают. Дверьми хлопает. Говорит — уеду, если Кира поедет. Стал чемоданы укладывать...

Кира осталась. Двери больше не хлопали, чемоданы были разложены и наступил мир.

\*\*  
\*

И говорила Кашина мужу:

«Алексей! Ты бы предпринял что-нибудь с дочерью-то. Эта б... (!), кажется спуталась с лохматым мещанином! Маркиза! (презрительно). Чего доброго и в Париже продолжать будет!

Кашин молчал. (Попробуй, предприми). Он мог бы ответить, что за нелюбимого маркиза это ты, матушка, выдала-то! — Где маркиз-то твой?

\*\*  
\*

Во дворе — уезжающие и провожающие. Первых много больше. Ждут грузовик и такси. Переговариваются. Ногин стоит с уезжающей Франей.

— Я способна на жертву, — сказала она шурясь и смотря ему в глаза.

— Я тоже, — сказал он к легкому ее недоумению. Такси предназначалось для «старого губернатора»

и губернаторши с внучкой. Предлагали также место астраханскому казаку, как безногому. Но он отказался и вместо себя попросил взять свою «Манечку» (так и сказал), даму очень полную и рыхлую. Это она говаривала: «Муж должен содержать жену в довольстве». «Манечку» взяли.

Внучка очаровательная грациозная девочку, вытираив глазки, спрашивала Лебедева: «А разбойник? Он остается? Заперт крепко?» — Это Лебедев с ней игру придумал, сказал что у него в комнате живет разбойник, привязан и заперт, — страшный, огромный, с бородой, глаза как угли, а в зубах нож держит и рычит... И она верила и не верила, но ей было интересно и жутко... И расспрашивала: и как рычит и почему рычит. И Лебедев ей рычал и давал объяснения... Даже бабушка беспокоилась...

Приехало такси, а за ним и грузовик. — Стали прощаться, усаживаться.

— До будущего года — говорила Кашина. — И ей только кивали неопределенно головой, в ответ...

## Глава VIII

Народа осталось совсем мало. И слышно было и видно было как летали пчелы, а раньше на них никто не обращал внимания. У Кашина был улей. Отроился он и рой устроился в трубе шато. Стало два пчелиных дома.

Появились признаки осени. Пожелтели листья. Если в лесу — очень красиво, то в огороде, — печально. А фермер, неофициально, ниже террасы замка развел огород. И торчали тепер там почерневшие стебли бобов, изможденная и ободранная фасоль. Капуста, хоть и была зелена, но не радовала глаз. Глаз капуста никогда не радуется. Ветерок трепал листья липы, не хуже осиновых. Кое-где стали пахать под

озимое. И темные пятна вспаханной земли резко бросались в глаза и портили красоту пейзажа. Неопределенная безформенная бледная туча заволокла небо, да и свободное от тучи небо стало каким-то белесым, вместо голубого.

И гости, — остаток их, — сбились вместе. Лукин только-что пришел — лечил Киру, которая почувствовала недомогание.

— Курит, пьет кофе, — этим и живет, а теперь устала...

Сидели, рассказывали друг другу всякие вещи. Вспоминали знакомых: Николаева, уехавших в Америку Грибоедовых. — Это он, Грибоедов, колебался между «американской и советской правдой»... Выбрал американскую, работает дворником и купил подержанный автомобиль.

— Вот мы вспоминаем... А что врезалось больше всего в нашу память? Гулял я как-то с женой гусара. Она была в «ссоре» с мужем и, чтобы его наказать, с ним гулять не пошла, а когда он ушел недоуменный один, пошла со мной в обратную сторону. Послушайте, что она мне рассказала, что ей запомнилось.

«Москва. Я — девочка. Только что начала ходить в гимназию. Вечер. Горел фонарь на улице у окна в столовой. Шел крупный снег. И тени играли на скатерти...»

— Вот и все. Как будто ничего, а как хорошо.

— Или еще. Она же: «Мне пятнадцать лет. Мы в Астрахани на пристани. Лето. Вечер. Закат. Большая лодка с арбузами и дынями. Хозяин ее, перс вероятно, разослал коврик и молится...»

— Теперь вам, Михаил Владимирович (капитан), рассказывать!

— Я был мальчиком. («Надеемся», слышался голос) и хотя у нас был свой сад, но лазили мы — ребята по чужим садам... Если чего в своем саду не хватало, — добавил капитан, слегка покраснев (Лебедев улыбнулся). И вот собрались мы так и сговорились,



— на утро в чужой сад за вишнями. А ночью вижу сон: идет по крыше Христос, грозит мне пальцем и говорит, — «нельзя воровать! Грех!»...

И капитан остановился. В воображении его, видимо, предстал этот сон.

— Ну и что?

— Так и не пошел. Сказал, что голова болит...

Начал теперь Лукин: «Дело было в Сычевке \*). Мне было лет пятнадцать. Появился в округе бешенный волк. Все боялись. И вдруг вечером крики: волк, волк бешенный!.. Я схватил ружье и выбежал вперед перед домом. — И вижу волк. На меня! — Выстрелил. — Промохнулся! А вторым убил». — И видно было, что эмоции этого момента были еще живые в нем.

— Я был на первом курсе Петербургского Университета, — рассказывал Ногин. На Рождество приехал домой. И на Святках мы продолжали устраивать елки, игры, еще можно сказать — детские. Встречались, веселились. Было в моем окружении две местных красавицы, гимназистки, класса шестого. Разные. Одна темная шатенка, кареглазая, смуглая, Лида. Другая блондинка, с глазами зеленоватыми, а волосы пышные слегка рыжие, — Нина. Обе мне нравились. И нрава различного. В темной передней, при какой-то игре, на вечере у нас, я поцеловал Нину. Не сразу губы-то ее нашел. И она от меня выпорхнула в залу и сидела присмирившая. И потом, был я у Лиды. Я был организатором наших общих встреч и, вероятно, зашел ее звать на очередную елку. Она была одна. Сыграла мне, как сейчас помню: «Белой акации грозди душистые». Рояль дребезжал. Но это дребезжание, как ни странно, только усиливало «сердечность» романса. Лида вышла меня провожать, высоко держа лампу в руке, освещая сени. — И здесь я ее тоже поцеловал. Она не выронила лампу, но побледнела... — Бедная Лида, добавил Ногин,

---

\*) Город и уезд в Смоленской губернии.

ласково и жалостливо улыбнувшись. Побледнела, это мало сказать, вся кровь ушла с ее личика. И глаза она почти закрыла... Кончились Святки. Я уехал в Петербург. Через некоторое время получаю письмо: «Дорогой Сергей Николаевич, подобного от вас не ожидали. Подпись, — Лида и Нина.

Я им ответил, им обоим, совершенно одинаковым письмом, где объяснял мое поведение чистосердечно: Обе мне нравились и нравятся и что обоих хотелось поцеловать...

— Мальчик лет семи, начал Лебедев, — вышел на высокое крыльцо двора после вечернего чая. В руках у него был кусок белого «французского» хлеба с маслом, посыпанный сахаром. Он его доедал. «Удивительно, как это Мама умеет так вкусно сделать и дать еще, даже когда чай кончился, и казалось бы «довольно», — думал он.

— Против крыльца у каменного забора двора росла огромная лозина. Стояла на колесах бочка с водой. Крупная гнедая лошадь, открыв сама дверь конюшни, вышла и суется мордой в бочку. Но бочка плотно закрыта. Тогда она с благородной грацией повернула голову и, наострив уши, посмотрела на мальчика своими ясными темно-кариими «пламенными» глазами. Послышалось тихое ржание — просьба, только одними губами, — «Пфрр...»

Мальчик быстро скрылся в кухню, достал там чистое ведро, — лошадь животное чистое, и сбежал по ступенькам. Он отдал лошади оставшийся кусочек хлеба, положив его на ладошку, залез по колесу на бочку и стал наливать ведро корцом. Потом, поставив ведро на чеку колеса и наклонив, придерживая за дужку, дал лошади. Та стала пить, цедя сквозь зубы. А он следил за ее глазами, поправил челку, чтоб не лезла на них, следил, как идет глоток... Лошадь и мальчик были большие друзья. Он ей каждый день носил кусок черного хлеба и тихое ржание, которым она его встречала, было для него, теперь можем ска-

зять, — лучшей музыкой. И в полутьме большой конюшни у яслей встречались тогда глаза мальчика и лошади. И блеск их глаз был словно бессловесный разговор о дружбе и любви. Мальчик даже не думал, что он человек, а что лошадь — животное. Они — друзья. Они — члены одной семьи и оба «работают», — кто как может.

— Лошадь тянула с шумом последнюю воду, но больше пить не хотела. Она фырнула, обрызгав мальчика, и, медленно повернувшись и опустив голову, пошла в конюшню. Мальчик за ней, чтобы прикрыть дверь... — Этот мальчик был... я, — сказал Лебедев, улыбнувшись с печалью и грустью.

— А я, — говорила Лукина, — больше всего помню: мне было лет двенадцать-тринадцать. Я была крепкая, полная девочка. Веса столько же, как и сейчас. И вот выходила вечером в степь... И стояла и слушала... И это все. — А помню до сих пор.

...Никто не вспомнил свое заграничное «жизье».

Но... молчали Бондаренки. Они недавно приехали на своем автомобиле — посмотреть, — хорошо ли тут. Она, — бывшая красавица из Киева из богатой семьи. У них когда-то было крупное дело. Глаза ее как миндалины не потеряли еще своей прелести. А он из Конотопа. У них там никогда не было крупного дела а лавочка, но теперь... с полицейским комиссаром своего сколодка в Париже он был «на ты».

Они молчали.

Попросите у них займы, — не дадут.

Предложите, — возьмут.

\*\*  
\*

Отпуск кончился. Остался один Барсуков, «помочь Кире обратиться». Простившись, люди окунулись в свою обыденную жизнь. Гости за время отпуска очень сдружились. При встрече улыбались друг другу, готовы были помочь, поделиться. И даже такие «одно-

бокие », гусар-поэт, оказались людьми симпатичными, и хотя гусар представлял себе политический строй : Царь-батюшка, « что прикажет », под ним губернаторы из « соловьев » \*), под ними уездные начальники (для начала среди них — он), но он искренне верил, что так лучше. Был добр и отзывчив по натуре. Во всем хотел принять участие. — Дети качаются на качелях, — с ними покачаться; лошадь пасется, — сесть на нее верхом; река, — в ней покупаться; увидит мельницу — он на мельницу... Его ли вина, что веревка у детских качелей оказалась для его веса недостаточно крепка, что лошадь не поняла его добрых намерений, что река была по-колени и с водой ключевой, что на мельницу не пустили, что...

К концу каникул количество « сливок общества » сошло почти на нет, — большинство влилось в общую группу, остальные же ходили как индюки и это было только смешно... Никому не мешал марширующий полковник, пишущий в свободное время « Тактику » и говорящий : « у меня в полку » и « мой доктор »...

И этот флирт, как розовая прожилка мрамора, украшал и развлекал общество и был очень невинного свойства. Только случай с Кирой напоминал Достоевского.

Если Елецкая пригласила Лебедева посмотреть ее комнату : « Nonni soit qui mal y pense » (стыдно тому, кто плохо об этом подумает).

— Дойти до « темных аллей » \*\*) — у русских не так легко.

\*\*  
\*

Крался Остап по лестнице и скребся и дверь не открывалась. Нету. Исчез его сюзерен. Ночевал Остап

---

\*) В своей « Оде » в честь Кашиной, он сравнивает « благородный класс » с соловьями, а все других с воробьями.

\*\*) Название книги Бунина, где собраны рассказы с вариациями на тему о самой примитивной стороне любви.

на темной пыльной площадке. Приходила Кира, гнала его, тащила. Не уступал. В глазах его была угрюмая тоска. Но если Лебедев и уехал, то он не забыл своего Остапа и вероятно даже будет помнить его всю жизнь. Жизнь же эта почти у всех повернулась так, что пребывание в шато, где они могли быть « настоящими », — кончилась и снова началось пребывание за границей, где они « ненастоящие »... И в этом « ненастоящем » надо пребывать « пока не последует смерть », или не случится чудо.



— Пап! — Спрашивал Коля отца. Мы поедем опять на будущий год в шато?

— Да уж очень плохо кормят...

— Но ты же мне подкупал...

— А ты хочешь?

— Да... я хочу найти подземный ход. Я уже обследовал подвал. Есть еще « подозрительное » место в самом шато, да и в пещере, где часовня...

— А Хельда поедет?

— Она хотела...

— Скажи, а правда, что ты по ней ходил?

— Как ходил?

— Да так, ногами. Она лежала, а ты ходил...

— Да зачем же?

— Ну, кто тебя знает...

— Нет, это мы опять боролись...

— Ну?

— И я опять победил...

— Не знаю, Коля... Там будет видно, поедем мы или нет...

## НА ФЕРМЕ

*Посвящаю Евгении Николаевне Берг в благодарность  
за дружеское ко мне отношение.*

*Прошло лет пять*

### Глава I

За это время никто не вернулся проводить свои каникулы в Шато. Своеобразная « экзотика », которую они там встретили, была хороша один раз. Но, образовавшиеся дружеские отношения и взаимный интерес, не могли умолкнуть и Лукины решили устроить « Литературный вечер » и « поговорить о будущем лете ». То-есть, попросту, — сговориться и поехать вместе. По этому признаку и были разосланы приглашения.

Из литераторов собственно были только двое : « Поэт » (стало прозвищем), — он же Александрийский гусар, человек крайне правых убеждений и Лебедев, который будто бы « писал роман » и состоял в Литературном кружке.

Встретились радостно. Стали вспоминать свое пребывание в Шато главным образом с комической стороны. Смеху было много. Политических споров избегали, а общались « по-человечеству ».

Наконец чинно расселись. Поэт достал из порт-

феля толстую в хорошем переплете и с золотым обрезом книгу (« как Евангелие », — сказал кто-то), встал и торжественно ее развернул. Стихи он сопровождал разъяснениями, — не их смысла, а обстоятельств при которых они были написаны, устанавливая таким способом контакт с публикой. Они распадались на две категории: стихи патриотические, более удачные и искренние и стихи сентиментальные. — Здесь правды не получалось. Все знали, что Поэт любит жирное мясо и много! толстые зады с соответствующими примитивными действиями...

Лебедев читал рассказ: « Умиравший Лебедь » \*). Ниже он приведен полностью. Рассказ произвел сильное впечатление. Не столько может-быть своей « литературностью », как силой и грустной, почти отчаянной правдой. Бездна надежды. Умиравший Лебедь стал как бы символом их (русских) душевного состояния. Надежды на перемену режима после победоносной войны совершенно не оправдались. Сталин показал свою когтистую лапу. — Об этом и говорили...

## Глава II

Набралась группа человек в десять, желающих ехать вместе на какую-нибудь ферму. « Бабкой » была выбрана Лукина. После переписки ферма была найдена, — русская.

В Нормандии у ворот дома без окна на дорогу (улицу) остановился старый-престарый красно-черный автомобиль и загудел. На воротах ярко-зеленых (примета) была надпись: « Злая собака ». В верхней части ворот была проделана дырка. В нижней части ворот была проделана тоже дырка. Прежде всего, в этой —

---

\*) Рассказ этот был впоследствии помещен в « Нов. Русск. Слове », 6.III.1966. Вся повесть относится примерно к 1952-53 гг.

нижней появилась собачья морда и стала лаять. — Если бы кто мог посмотреть сзади, — со двора, — то увидел бы, что там вилял приветливо собачий короткий хвостик. Послышались быстрые но тяжелые шаги и в верхней дырке появились два темных глаза без всякой приветливости. После нескольких секунд осмотра приезжих, выражение глаз изменилось, послышался возглас: «Я так и думала, что это свои. — По лаю Дика догадалась? !.. Дик действительно был умнейшей собакой и все понимал.

Застучали засовы. Раскрылись ворота и автомобиль въехал во двор. Из автомобиля вышла дама с улыбкой, с ямочками, с «прячущимися» глазами и стала с фермершей целоваться. За ней вышел высокий седой господин с прямой шеей, сияющий от удовольствия. Поздоровался. Поцеловал ручку. — Это приехали Лукины.

«Я вынимаю Пасика!», сообщил не без торжественности Лукин и вытащил из автомобиля сиямского кота с недоверчивыми почти-злыми глазами, косящими к носу и с булькой вместо хвоста. Лукин поцеловал его несколько раз: в бок, в шею, приговаривая: «Ах ты мальчишка!» Этот же «Мальчишка» пытался его оцарапать. — «Ишь ты!» радостно промолвил Лукин и передал кота жене.

Стали съезжаться другие. — Гусар-поэт с женой «Милочкой» — женщиной скрытно-умной и язвительной. Шавиловы. Лебедев, на этот раз без сына, о чем он горевал. — Сын-Коля уехал в лагерь. Артиллерийский капитан. — «Волга впадает в Каспийское море» и много внимания обращающий на луну. На этот раз с ним была жена, — полная массивная сентиментальная дама, довольно красивая, похожая на немку...

Все постарели. И если раньше они провели отпуск в шато, то теперь была безземельная ферма: дом, двор и сад, оставшиеся хозяйственные постройки. Вместо двух премированных сетеров, — два нечистопородных фокса. Ни одной графини, ни урожденной княжны или



баронессы. И «элегантный господин» стал — за глаза — «Барбиш'ем», как прозвали его французы за бородку.

Кормили лучше. Платили меньше. Хозяйка понаделала комнатухек: две из большого курятника, одну из угла кухни, две из бывшей пекарни, одну из сеновала, две из крольчатника... Каждый получал: узкую кровать с перинкой из драных куриных перьев, козью шкурку на полу, таз и кувшин, стул, где можно, — стол. Все чисто, а дальше, — как хотите.

Гости смягчились. Политически на левом фланге стоял элегантный господин с советским паспортом, («Барбиш»). Он как-то сказал Лебедеву, пользующемуся его доверием.

— Я собираюсь «туда» ехать...

— Да. (ответ Лебедева)

— Не думайте, что я еду по убеждениям... (что) признаю эту власть...

— Что вы! Никогда не думал.

— Видели пальцы Хрущева, короткие растопыренные?..

— Нет.

— Хочу умереть на родной земле. Там где были наши угодники (святые).

— Я понимаю.

— Пожалуйста никому о нашем разговоре не говорите.

— Хорошо.

Вот и все. Больше они никогда к этому вопросу не возвращались.

Следующим «номером» был Шавилов, — явно просоветский, но взявший французский паспорт. Если посмотреть, как он со вкусом и претензией одевался, как бывал изыскано (до утомительности) вежлив, как прекрасно знал русскую классическую литературу, — то приходилось диву даваться. Даже Гоголь со своим Маниловым удивился бы этой просоветской наивности.

На крайнем правом фланге был Гусар. Он остался

ярым анти-советским, даже музыку или песню из Москвы не хотел слушать. Тем не менее он сделал уступку времени: вместо сторонника самодержавной монархии, как раньше, он вдруг стал высказываться за монархию с «народным представительством». За это даже пострадал. Председатель его группы ему заявил публично: «Ну, это вы, батенька, того, сильно переборщили!»

Потом шел Лукин, — резко анти-советский, но республиканец по убеждению и песню или музыку из Москвы слушал с удовольствием.

Но никто из них (изо всех) не был коммунистом.

\*\*  
\*

Рано утром открывалась дверь кухни и выходил «главный фермер», как называл его иногда Лебедев. Он был толст, коренаст и лупоглаз. Было еще серое небо. День только начинался. Его жена еще спала. Фермер осматривал двор, осматривал небо и даже втягивал воздух носом. Почесывался. Ситуация для него становилась ясной. Погода, события прошлых дней, предполагаемые события ближайшего будущего укладывались в определенную логическую картину. Потом он шел по своим делам: личным и хозяйственным. О первых я умалчиваю. Второе: это быстрый обход владенья. Не забралась ли кошка к маленьким циплятам. Вчера он вырыл одного крота в огороде. Не появился ли второй. Нет ли крысы. Долго смотрел в дырку на улицу, — все в порядке! Фыркал и возвращался в кухню. Пора бы другим вставать! Этот «главный фермер» был Дик.

Через довольно большой промежуток времени слышался шум кострюль в кухне. — Встала «Катюша» — хозяйка. Потом с шумом, каким-то особым своим способом-раскорякой-ступни в стороны и не держась за перилла, спускался со своего чердака Лукин. Он будто бы невзначай проходил мимо кухни.

Катюша, конечно, видела, но молчала. Потом, когда он так проходил невзначай раз три (с перерывами) она восклицала : « Что это вы все ходите и заглядываете ! ? Кофе давно готово ! » Лукин брал два-три камня и пулял в дверь к Лебедеву. — Вставай, дескать ! (Они были на-вы, на-ты это было в броске камня. (Появлялся Лебедев в ночной длинной рубашке, улыбался Лукину, и быстро проскакивал в бывший крольчатник, где устроил себе умывалку. — Быстрота объяснялась, — чтобы дамы не заметили.

И опять, как всегда и что свойственно только русским и что может видеть « пронзительный » взгляд писателя или поэта, — начиналось оперно-балетное действие. — Большой двор представлял сцену : зеленая травка, по ней прогуливаются белые куры. Слева белый одноэтажный двор окнами во двор, т. к. какой-то французский король в свое время облажил налогом окна на улицу, так крестьяне стали строит без окон на улицу. Кругом шли довольно странные постройки и тут декоратор мог бы развернуться : домашняя хлебопекарня, конюшня, сеновал, колодец, крольчатники, курятники, превращенные в жилье. Из закуты смотрели козы. Двери и окна стали открываться, появились лица, головы, люди и.. запели ! И затанцевали ! (Воображаемо !). Если русская женщина не очень красива, то зато в ней много пластики, а сам русский язык певуч... Раздавались приветствия, осведомления : « Как спали ? » ...Все это стекалось к кухне, к кофе, к общей встрече. Помимо лиц, приехавших « своей компанией », была еще армянская пара : он-пожилой господин и мудрец — молчаливый согласный, она — дама с большими сисями, которые и « прогуливала » (по выражению остроумца), сильно обнажив. Была « татарская пара » : он — « почти-княз » (по собственному выражению), а она староверка и потом — Ранкович Борис Леонидович замечательный рассказчик еврейских анекдотов (будучи сам евреем), бывший адвокат. — Все это прекрасно влилось в « свою кампанию » — без сучка

и задоренки. — Если бы и их заставить петь на своем родном когда-то языке! Вот была бы опера! Не хуже «Садко»! Теперь же всех их считали за русских. И спели бы они по-русски не хуже.

Последней выходила к кофе капитанша — Юлия Федоровна. — Любила поспать! Когда она просыпалась, то в столовой-кухне слышались голоса. Настроение у нее поднималось. Она быстро (О! Насколько это было ей свойственно) принималась за свой туалет. — Подкрашены губы и ресницы. Губы сделаны сердечком. Пущена синева на веки, дающая томность. Наложены кирпичный оттенок от скул книзу для здорового загара. Все покрыто легким слоем пудры. Вспрыснуто духами. Надет капот из тугого шелка цвета семги со значительным декольте-неглиже (Преимущество деревенских каникул). Каждое утро у нее появлялась надежда на «легкий деревенский флирт» Она довольная почти уверенная в успехе, открыла дверь и вышла — появилась. Остановилась. Застыла на момент, чтоб ее рассмотрели — оценили. Имела вид почти победительницы. — И все смотрели. Некая волна ударила всех сначала ментально, а потом за ней появился пряный дух духов, пудры, мытого женского тела... И все смотрели и думали невольно: «В чем дело?». Потом слышалось вежливое: «С добрым утром, Юлия Федоровна! Как спали?».

Она, готовая к флиртовой игре, но медлительная, как всегда, не успела даже ответить, наладить улыбку и очаровать окончательно, как мужчины отвели глаза и продолжали свой спор-разговор.

День распадался на несколько отрезков. Первый — утро. Дамы убирались. Лебедев шел на чердак писать роман. Лукин — радиостезист и «знахарь» — лечил народ. Однажды, когда у Катюши — фермерши что-то заболело, он попросил у нее яйцо, стал делать пассы от больного места к яйцу, предварительно отколупнув сверху скорлупу, — вдруг взял да и выбросил яйцо во двор! К ужасу фермерши. — «Ничего, уте-

шала она себя, — куры подберут! Но все же...» Но теперь, по сравнению с Шато, пациентов у него было много меньше с славы как-то меньше. Тогда он утром стал... точить ключи! Прямо, как страсть! Купил болванок и напильником точит, точит... Всем ключи так понаделал что, когда с прогулки возвращаешься, можно не звонить, а самому отпереть. Натура его видимо требовала увлечения, жаждала невероятного. Так он увлекался, — доказывал, спорил, уверял, — «летающими тарелками». И некоторых убедил, Гусар даже сказал, что «сам видел»... Он уверял, что в Бразилии существуют удавы длиной в сорок пять метров и толщиной в метр! И против них выступают танки! Он отмерял 45 метров большими шагами, — получалось невероятно. — Видимо в газетной заметке была опечатка, вместо 45 метров надо было читать 15. Ширину он уже от себя прибавил. — Лебедев эту заметку читал. — Но для Лукина нужно было 45! Нужно было изумительное!.. И потому тоже он ждал марсиан! *Надеялся!*

Катюша выпускала коз. Садилась на моторизованный велосипед и ехала в лес. Козы за ней бежали. Там она привязывала старшую белую козу. Другие паслись на свободе и от своей «бабки» далеко не уходили.

Шавилов — высокий, стройный и серебристый, приехавший в шляпе «а ля Иден», тащил сутулясь (когда на него никто не смотрел) кувшин с водой. Шел медленно и о чем-то думал, думал, думал. Теперь для его восторгов и изощрений в хорошем тоне и воспитании не было ни одной графини — перезрелой, ни урожденной княжны. Он попрежнему был изыскано вежлив, «изнутрительно вежлив» (словечко, пущенное про него Гусаром и «украденное» тем у своей язвительной умной Милочки).

— «Сделайте милость!» говорил Шавилов, пропуская вперед в дверь. «Нет, сделайте одложение!» повторял он, если тот все же уступал ему первенство.

Зато отсутствие вежливости и грубость его огорчали и возмущали.

Во время прогулок, встретив незнакомую бабу с коровами он вежливо с наклоном ее приветствовал: «*Bonjour, Madame!*», потом оборачивался к другим и спрашивал: «Господа, Вы поздоровались?»

— Да, да! Не беспокойтесь. Петр Александрович!

По убеждениям — просоветский «а ля Манилов». Боже мой! Каково было бы ему в Советской России?!

Лебедев — «писатель», который как будто «на сцене» (воображаемой) играл роль резонера, за сценой проявлял большой темперамент в игре в бридж, воллей-бол, в «петанки» (игра в шары, очень распространенная во Франции). Если он пользовался общим доверием, то это объяснялось объективностью его и интересом (доброжелательным) к человеку. С каждым он находил что-то общее. С Шавиловым они говорили о «тонкостях» литературы или русского языка, с Лукиным о сверхестественном или просто «кинематографичном», выходящем из обычного, о «красочном»... Но ведь существуют не только политические интересы. С женой «почти-князя» о ее диафрагматической грыже. Жизнь полна других... Любопытно отметит: никто Лебедева за «своего» не считал. — Все его принимали, но за своего «до конца» не считали. Было что-то в нем, глубоко закопанное в душе, что не давалось. Что еще его отличало, — это любовь и интерес к животным. И они — животные это чувствовали. Дик к концу обеда (незаконно) из под ска-терти просовывал кончик своей морды и получал корочки сыра. Злой осел-«жеребец» (самец) и «который кусался» брал из рук хлеб и часто встречал его довольным дружеским ревом! скаля свои страшные зубы. Козы оказались необыкновенно умными и дружелюбными. Он как то пошел за ними. Дал по сухарику. Маленький козленок становился на дыбки, доверчиво опираясь на Лебедева. — Надел намордники, чтоб по дороге не ели «чужое», — и идя с ними — на

свободе домой, заблудился. Старая коза шла за ним, как собака и вела все стадо, хотя пришлось продираться через кусты и они дали крюку с километр. При чем она прекрасно знала правильную дорогу. — Шла по дружбе, по верности. Тогда как в другой раз, она не дала господину с бородкой и цепи отвязать, волокла его и вывезла на его «сизу», к удовольствию и смеху пансионеров... «На козе приехал!» говорили. — «Так тянула, дура!»...

«Гражданская» жена почти-князя, за которого замуж «законно» она выйти не хотела, т. к. тогда лишилась бы пенсии по первому мужу-французу, о своем теперешнем муже заботилась очень. Так, чтобы отогнать злых духов, у нее в квартире в передней висел... чеснок. (!) — Советывала и Лебедеву. — Кроме того она поила своего мужа на ночь питьем, состоящим из: настойки пырея (сорная трава), липового цвета и перловой крупы (!). — Конечно, такую даму трудно отнести к катерогии интеллигенции. — Но симпатична она была явно. — Ясные голубые глазки, — доброжелательные, курносенький носик. Она задала Лебедеву «прямой вопрос»: «Нет ли у вас грыжи?»

— «Была, но оперировали», — по правдивости ответил Лебедев.

— «Я так и думаал (!), а у меня есть»...

Интерес к человеку — «дружба» на этот раз «вышли боком», потом что дама утром любила рассказывать свои сны. Со всеми подробностями, со всеми людьми, которых Лебедев не знал. — Приходилось слушать.

Скоро эта пара уехала. «Почти-князь» всем рассказал, что он «почти-князь», что они подавали на Высочайшее имя (чтоб быть не-почти), но им отказали... Ходил даже к француженке — графине и ей рассказал... Он был полковником, кадровым офицером, вышел из Павлоского (лучшего) училища. — «Я тоже», — неожиданно сказал Лебедев. — «ДА!!!» (с

каким удивлением и радостью!). — «Но я военного времени».

— Это все-равно. Записывайтесь обязательно в наше Объединение!

— Спасибо. — Я держусь в стороне.

На прощанье он воскликнул: «Рвется в бой славных Павловцев душа!» (Это из марша Павловского Училища)... Если «они» засядут в Кремле, — я и к Кремль раскатаю!» Лебедев не успел ничего сказать, как он быстро и крепко пожал руку и уехал.

Вместо них приехала новая пара. Дама — Ольга Ивановна, бывшая балерина, и ее муж — богатырь и характера необыкновенно спокойного. Однажды в бою, во времена Добровольческой Армии, — так он просто заснул! Искали: пропал! Нашли: спит!

Все приехали (приезжали) с удовольствием, со вздохом облегчения, словно избавились от чего-то тягостного, нудного, обидного и теперь могут быть самими собой. Лукин сиял. Шавилов блаженно улыбался. Капитан уже горевал, что «скоро уезжать». У Гусара просто выросли крылья. Свобода и простор радовали его неизъяснимо. Он начинал слегка заикаться. Звал всех к движению, к деятельности, к единению. Надевал белую кепку с длинным козырьком и мчался на велосипеде в городок. Там он выпивал «дубль кальва» (двойную порцию яблочной водки), — официально, для жены, — это называлось пирожным, — приезжал и спрашивал: «Ну что мы теперь будем делать?» Он рыл-равнял в лесу площадку для воллейболла, взывал ко всем идти гулять. Вечером предлагал почитать вслух. Купался два раза, хотя речка была мелкая и вода холодная... Менял башмаки, мыл ноги, трепал Дику-Дикошку... Пыл его настолько был велик, что он иногда просил свою жену... окатить его холодной водой. Дело это происходило на дворе и публично. Раздевался насколько можно и подставлял свою массивную спину, опустив солидный живот. И верищал и гоготал! Правда, главное удовольствие от этого было



другое, скрытое, тайное : что жена его моет и жена его слушается. И все видят, что он муж и мужик, а она жена и баба. — Но высказать это вслух он ни за что на свете не согласился бы!

\*\*  
\*

Жизнь вошла в норму. Несколько стилизовано можно представить так. — После кофе, Лукин точил ключи. Лебедев шел на чердак писать роман. Катюша (звали за глаза), отодвинув слегка занавеску смотрела, — не зайдет ли Лебедев в сад и не украдет ли розу. Он иногда это проделывал, — любил цветы, роз было много, за воровство не считал. — Но она-то считала! И молчала. Как сказать? А желочь разливалась. Юлия Федоровна, разочаровавшись в своих надеждах на « деревенский флирт » сидела на скамеечке и ждала письма, — от матери, от дочери... Если письма долго не было, — она тихо плакала. Если письма не было еще « дольше », то решительными и « массивными » шагами шла к мужу и требовала : послать телеграмму ! Гусар мчался в город за покупками и выпивал там « дубль кальва » — официально — пирожное. Екатерина III — Катюшка — хозяйка, оставив « наказы » в пепельнице своим подчиненным, как то : « Ошурки от чеснока на пол и на дворе не бросать, а складывать в пепельницу ». « Спички на дворе не бросать » (где бродила сотня кур), « Бритву полотенцем не вытирать, а попросить тряпочку » (это для лезвия безопасной бритвы). Потом она садилась на мотоциклетик и вела коз на пастбище. Дик и Шипетка (другая собака) стояли у ворот и выли : « На кого-ж ты нас оставила !!! »...

Капитан с важностью брал лопату и шел в огород. — Это ему и только ему поручалось нарвать укроп и салат. Шавилов нес кувшин с водой и о чем-то думал, думал, думал. « Элегантный господин » уезжал на велосипеде. — Он немножко сторонился других. —

Велосипед он взял на-прокат. С него запросили 75 фр. в день, — он дал 100 (при своей бедности). Велосипед старый-престарый. Седла опустить попросить постеснялся. Сидел, как заморская птица.

### Глава III

В этом маленьком миру маленькие события принимали большие размеры. Скрытое и часто несознаваемое чувство неудовлетворенности и тоски проявлялось в неожиданных формах. Так артил. капитан ходил и носил в объятиях... курицу (!) и имел лицо блаженное и всем говорил: «Смотрите, какая она смиренная. — Я ее в руках ношу, а она ничего! — Даже «ничего» от курицы было для него радостью. Лукины общеловывали своего кота и глаза их блестели от каждой кошачьей ласки. Для Лукина, — удовольствие на целый день, если кот начинал ему лизать нос (довольно длинный).

Вчетвером ходили за тремя козами и козленком, чтобы привести их домой, и с ними «поговорить». «И козы словно понимали, что это друзья и шли с людьми вперемешку, — «общей компанией»... Ходили считать в водоемчике лягушек, — тоже общественное занятие. — А лягушек было всего четыре.

Однажды, когда капитан пил чай, «его» курица вскочила к нему в чашку! и залила сладким чаем ему брюки. — И это было событие. Потом ходили смотреть висевшие и плохозамытые брюки. — «Ну как брюки?» спрашивали. И давали советы. И капитан был огрочен, — замытое пятно дало разводы! Когда кричал осел, — говорили Лебедеву: «Ваш приятель кричит!»...

Там, где был осел, жила пышная блондинка, с «большими голубыми глазами» (по анекдоту, т.е. большой грудью). Когда проходили мимо ее дома, то блон-

динка выходила и улыбалась. — В особенности, если не было дам. С ней стали здороваться, более приветливо, а она же появляться, для большей привлекательности, в белых шортах...

Вдруг — однажды — Гусар заявил, что разговаривал с «пышной блондинкой».

— Как же так? Как же так? заволновались люди.

— Она пасла корову, а я ей предложил поменять козу на корову.

— Ну, она что?

— Она ответила, что корова не ее, а матери.

— А вы что?

— Я ей сказал: пойдете поторгуетесь в кустах!

— Ну этого вы ей не сказали!

— Не сказал, а мог бы сказать!

— По-французски не могли бы сказать!..

— Вот привел бы вам, сказал Гусар, обращаясь к хозяйке, две козы и корову! Это было бы не плохо!

— А то две козы и... блондинку! съострил кто-то.

— Это уж много хуже!

Иногда устраивались маленькие выпивончики. Это целая процедура. Сначала говорили Катюше, что пехоту что-то очень раскричались и спать не дают... Хорошо бы парочку зарезать, да и время пришло, — давно не смеялись. — Катюша конечно сразу понимала, молчала с полминуты, зыркала глазами и говорила: «Так уж и быть». Потом спрашивали у Капитана, — как его чемодан? — Он привозил целый чемодан закусок. У Лукина спирт наготове. Гусар мчался в город. Дамы помогали с закусками и украшением стола. — «На Руси веселие пити»... Разные люди, разного мнения, разного происхождения сливались в одно Русское море. Только Катюша как-то не попадала в такт. Не было в ней «сердца». Выходило грубовато. ...Готовили закусочку. Передавали с изысканной вежливостью. Ухаживали за дамами. И наконец: «Первый тост, господа, за нашу дорогую Хозяйку-Екатерину Ивановну!»

— Спасибо ! Спасибо ! И чтоб в будущем году опять встретиться ! Вы у меня на всю жизнь прикреплены...

— За наших дам !... Целовались ручки соседкам.

Некоторые « передергивали », т. е. исхитрялись, пока наливают, выпить — « хлопнуть » лишнюю. Все это происходило у всех на-виду и с молчаливого согласия. К этой категории принадлежали : Лукин, Гусар и приехавший богатырь — Гриша. (Часто за глаза звали, как зовут жены). Остальные-в-очередь. Некоторые дамы после второй рюмки отказывались. Слышались тихие голоса : « Петя, не пей больше. — Тебе вредно ». (Это жена Шавилова.) Или : « Гриша, не пей больше ! » — « Что ты ! Я только одну выпил ! » (Явная ложь). Гусар сам спрашивал : « Милочка ? Мне можно еще одну ? »

— Как хочешь. Как хочешь. Я не запрещаю. А у самой глаза опущены и в них легкий блеск. Гусар больше не пил...

(Нужно сказать, что обоим этим богатырям пить было нельзя).

Начинались « необыкновенные истории и анекдоты ». Даже сентиментальная Юлия Федоровна — жена капитана такой расскажет ! — что от дамы неожиданно слышать. Больше всех смеялась Ева Александровна — армянская дама, — очень веселая и компанейская. Меньше всего, пожалуй, ее мудрый муж, но глядя на свою Еву радовался за нее и улыбался. Все его любили и уважали, а мудрость его была особого порядка : мудрость приближающейся смерти. — Он действительно через полгода — неожиданно для всех — умер. А теперь лишь слегка жаловался на сердце.

Лучшим рассказчиком анекдотов был Ранкович. Главным образом еврейских. — « Мальчик — еврей говорит учителю : « Папа хочет подарить вам утку ! »

— Скажи папе спасибо !

Проходит неделя. Учитель спрашивает : « А что же утка ? »

— Извините, господин учитель, — утка выздоровела !

Другой. — Посылает генерал еврея в разведку. Проходит некоторое время и тот возвращается.

— Ну, что ? спрашивает генерал.

— Кавалерия, Ваше Превосходительство, — пройдет ! Артиллерия-ну, пройдет ! А пехота — нет !

— Почему же ?

— Собаки !

Даже самый простой анекдот, в котором, казалось, — ничего нет, — вызывал смех.

« Какой-то тип построил в Одессе пирамиду и сказал, что будет с нее прыгать. Собрал в шляпу деньги. Влез не без труда на свою пирамиду, ходить там, смотрит вниз, — и ничего !

— Прыгай ! кричат ему.

— О прыганьи не может быть и речи. — Вот как слезть ? !..

Вдруг вмешивается Лукин. — « Теперь, г-да, — Я хочу рассказать анекдот ».

« Батюшка спрашивает семикласницу : « Что такое добро и что такое зло ?

— Это, батюшка, стою я перед пропостью...

« Перестань ! прерывает его жена. Десять раз одно и тоже ! »

— Ну, дайте ему рассказать ! просят другие.

— Нет, Больше не пьешь ! — Одну рюмку (Сжалась она) Расскажи лучше про Сычевку !

— А, у нас в Сычевке ! (Смоленской губ.) ...Рысь застряла на частоколе !.. Или : Гедеоновы в гости едут ! Восемнадцать человек и две тетки ! Пыль по дороге ! Пробудут три дня. — Все съедят, как саранча ! Но и у себя принимают ! Каждого карапуза именины справляют. С фейерверком ! — Он выпивает рюмку...

« Гриша ! Не ешь так много мяса ! » (С возмущением).

— Почему ?

— Ты опять пойдешь ловить рыбу ?

— Да! Я тебе что?..

Видимо « что » было, но сказать вслух неудобно... И опять Лукин: « Г-да! Мой последний тост, — за китайского императора! Ура!!! »

— Вот видите! Пьян! Идем домой! (Властно).

— Ты — моя финтифлюшечка! и он послушно встает. Все расходятся.

\*\*  
\*

В этой тиши произошло не кинематографическое, как в Шато, а фантастическое событие. — Гусар стал что-то часто прогуливаться на велосипеде... Жизнь была в нем ключом. Проблемы, запросы, желания были ясны и просты. Гусар любил поесть. Гусар любил женский пол. Гусар был поэт, а для поэта, по его мнению, нужны переживания. — Для вдохновения. А главное, — Гусар был гусар, а « пышная блондинка » « плохо лежала ».

В данном случае вопрос о любви с большой буквы, о спутнице жизни, о будущей матери ни только не ставился, но у него бы волосы встали дыбом от одной мысли... В данном случае женщину напрашивается сравнить с вкусным блюдом, — с телячими почками в сметане или с малиной со сбитыми сливками. Хочется есть, — ешь. Наелся, — уходи, посвистывай!

Время было выбрано Гусаром с расчетом на его жену — Милочку. Конечно, для первой любовной встречи, « решительной », — под покровом ночи удобней. Но после ужина ему улизнуть бы не удалось. Один вопрос Милочки: « Куда это ты? » — У него бы поджилки затряслись. Стал бы путаться, краснеть, — заподозрила бы сразу. И Гусар выбрал время за час до ужина. Если опаздывает, можно для видимости проколоть шину. В это время публика собиралась во дворе на лавочке или слушала радио, просматривала газету соседа. — Не было опасности встретить кого-либо на дороге, из своих.

Наконец выдался сухой хороший день. Назначено свиданье решительное. И какой удался вечер! Огненное заходящее солнце косым светом пронизывало лес и играло на коре сосен и отдельных березок. И кудрявились березки, как девушки на-выдани. И замерли сосны, освещенные в своей нагой красоте! Земля, напитанная за день солнцем и теперь ставшая теплее, чем воздух, — дышала, отдавала ароматами трав, хвой, листьев. — Все звало к миру, к любви и, если можно, — к пиру!

И вспомнилось Гусару другое далекое время. — Море зрелой пшеницы блестело и переливалось темным золотом под голубым небом. И жаворонок-шельмец висел в воздухе и пел, пел, пел... Какая красота! Зачем влезать на Фужи-Яма? Зачем смотреть на Ниагарский водопад? Небоскребы Нью-Йорка? Фоли-Бержер Парижа?.. Посмотрите на это поле спелой пшеницы! Послушайте, как чуть звенит она под косой и с шорохом падает в ряд! Хочется сказать: «*Со вздохом ложится*»... А вот шмыгнула мышь. А то поднялся перепел с чеканьем, грузно... А бабы и девки вяжут. Ловко так! Коленкой сноп прижмут и свясло узлом: жик! и завяжут, — готово... И кроме того, особенно одно вспомнилось Гусару... — «Подожди, паныч! Дай я хлеб вина!»... И эта простая мимолетная «любовь», а запомнилась на всю жизнь.

Теперь наш «сатир» мчался на велосипеде тоже на пир любви! И «пышная блондинка» выходила на дорогу! А другой сатир — настоящий, но воображаемый — с копытцами, с хвостом, с бородой и рогами, с глазами, как у влюбленного козла, — прятался в кустах у назначенного места, чтоб насладиться зрелищем и также в надежде, что может быть потом и ему достанется.

Вышли наши влюбленные навстречу друг другу. — Большие! Сильные! Розовые! Должна была бы сверкнуть молния и раздаться гром!

Встретились. Стояли друг против друга. Смотрели

друг на друга... Как начать? думал Гусар. Вспомнился любимый Гоголь: «А что это у вас, великолепная Салоха?» — И сказал он по-французски: «Что это у вас?» и тронул вместе руку и грудь, но не отскачил, как дьячек у Гоголя.

Покрылась та густо-розовым цветом, хотя и удивилась наивности вопроса. — О Гоголе она не имела понятия и представляла себе «действия» много проще... — «А что это у вас, несравненная Салоха?» продолжал Гусар на этот раз с началом действия. И как ни была опытна красавица, но зарделась она маковым цветом. — А не отступила, а больше того, — прижалась к Гусару своей полновестной грудью!

И Гусар расправил плечи, а глаза сверкнули, налились решимостью. Потупила очи красавица. Раздвинул кусты сатир, чтоб лучше видеть. «Нет ли тут змей?» подумал Гусар...

И вдруг — за красавицей, из сиреневых легких сумерок, в дымке от нагретой земли стал появляться силуэт. Выплыл снизу вверх. И все ясней. Чувствовали потупленные глаза, — не смотрят, а видят. Почудились — послышались слова: «Я не запрещаю, я не запрещаю. Как хочешь. Как хочешь...» — Милочка!!! Его Милочка!!!

— *Ma chérie!* пробормотал Гусар блондинке. — *il me faut partir!.. L'autre fois... Au revoir!* Смело чмокнул в щечку. Сел на велосипед и был таков! Никогда, кажется, так быстро не ехал!.. открылась со звяканьем калитка. По дороге встретил приветливого Дика и ну его тискать! На воздух поднял. Милочка из домика следила... — «Хорошо прокатился?» — «Да, Милочка!» сказал он со вздохом облегченья.

Вымыл ноги и был готов к ужину.

За столом, ожидая свою тарелку, он откинулся на стуле и улыбался всему миру. Аппетит разыгрался, как духовой оркестр в Кремлевском саду. И хорошо, что не подали рыбу, — за ужином ни рыбы ни мяса, — а то, как у Гоголя, «наш проголодавшийся дворянин



мог бы « подавиться рыбной костью » и пришлось бы обращаться к Пасюку. — А где его найдешь на Западе ?

#### Глава IV

Французы знали все, что делается у « этих русских » и считали их за крайних чудаков. Их удивляла « пластичность » этих людей, вежливость, и, в то же время, замкнутость (не делятся), хождение « скопом », дружеская жизнь « скопом ». Один раз, вернулся Гусар из города и говорит : « Мне сказали, что » "Barbiche" (« Бородка ») (Это они про « элегантного господина »), упал с велосипеда, — « сидит на дороге (проезжей) и закуривает (так сидя), а велосипед около валяется...

Тот вернулся и ни гу-гу. Но его вывели на чистую воду. — « Что ж тут такого, говорит. — Грузовик выскочил. Меня « сдул ». Я упал и решил закурить ».

— Сидя посреди дороги ?

— Да.

Барбиш, между прочим, поехал в Лезье, — к св. Терезе « малой » на богомолье. — « Хотя она и неправославная святая, но все же святая ». — Огромный белый недавно выстроенный храм на горе. И стеклянной раке лежала косточка от руки святой Терезы. — « Поклонился косточке », сказал он. — И чувствовалась неудовлетворенность.

Человеческие отношения во французской деревне часто принимают уродливые формы, которые влекут за собой даже преступления. Здесь-где жили эти русские — к счастью до преступления не доходило, — но французы друг друга ненавидели ! Леоки и Юберы ненавидели друг друга взаимно, хотя их фермы рядом. И когда гнали коров, то отворачивались (но не коровы). Бетоле ненавидела нашу Катюшу и донесла жандармам, что Катюша у нее украла... Кошку ! Пришли жандармы и сделали « обыск ». Самое комическое в

этом деле, что Катюша ненавидела... кошек! А вообще же Катюша наивно думала, что все (за исключением Бетолы) ее любят, так как она всем бесплатно и в любую пору делала уколы (что истинная правда). Причины ненависти самые различные: М-ме Вильпу ненавидит М-ме Муасек, что та «крутит» с ее мужем, сама же она «крутит» со своим хозяином и жена того естественно ее ненавидит. Лебиш ненавидит все и вся за то, что он продал свою землю, а деньги упали в цене! Морисы презирают Дерриков, за то что Деррики прекрасно работают и преуспевают (Они — соседи). Симоны ненавидят Тальценов за то, что те донесли, что они закопали козу. Вотье ненавидят.... Очень часто ненавидели друг друга именно соседи. Ненависть делила людей на партии. И эти партии ненавидели друг друга... и конечно, встречные приветливо улыбающиеся и здоровающиеся русские было явлением чрезвычайно странным!

Звонок у ворот.

Дик обезпокоился и побежал посмотреть в дырку ворот. — Залаял. Звякнул колокольчик. Вошли два жандарма. — Начальствующее око. — Поставили велосипеды около стены. Пансионеры-гости стояли в-кружок на дворе и играли воллей-большим мячом. — Было сыро, чтоб идти в лес.

— *Bonjour Messieurs-Dames!* » сказали жандармы этим людям крупным и явно-не-французам.

— « *Bonjour, Messieurs!* » ответили хором гости и смотрели на жандармов без любви и ненависти глазами индусской коровы.

— « Спросить у них документы? » — подумали жандармы; но не спросили. — Бумаги гостей в свое время были представлены в мерю.

Хозяйка быстренько повела жандармов пить кофе с сильной порцией кальвадоса. — Пили долго...

И потом спрашивали хозяйку: « Зачем жандармы приезжали? »

— В гости.

— Взяточку дали ?  
— Нет !  
— Просто в гости по знакомству ?  
— Да ! (Она очень гордилась тем, что все в округе ее уважали).

\*\*  
\*

В дождь слушали радио. Попался « Борис Годунов » из Москвы. Все сбились на чердаке у Лукиных. — « Гусары » не захотели.

Сцена у Василия Блаженного. « *Стонет земля злом безправия !* (Хор)

Ребята над юродивым смеются : « Тр... Тр.. Железный колпак ! »

— А у меня копеечка есть ! (Прекрасный тенор Козловского).

— Отняли у него копеечку. — « А !А ! Обидели юродивого ! Отняли копеечку ! »

Выходит из церкви Борис с боярами. — « А это ты царевича убил ? »

— Молчи, дурак ! (Бояре).

— Не тронь его ! (Борис). — Молись за царя Бориса !

— Нельзя молиться за царя — Ирода ! Богородица не велит ! »... (Бо-го-ро-дица не велит)

А то попадалась в такие дождливые дни антирелигиозная пропаганда. — Изумительно глупо и некультурно ! — Долго видно ждать, пока поумнеют ! — Культуры нет ! Притворяются только. А ведь культура силе не мешает.

Один раз в такой дождливый день решили посидеть в кухне — сразу после кофе. По началу сидели мирно. Но вдруг попала старая руссофобская вожжа Лукину под хвост под антропосовским соусом. Он и заявил : « Конечно, мы-русские при перевоплощении перейдем в существа более низшие, более грубые, чем американцы, немцы или французы »... Полная розовая

дама в розовом же капоте наивно осведомилась, совершенно искренне, с доверчивостью, из чистой любознательности, не обидевшись за русских.

— А у вас есть доказательства о перевоплощении?

— Доказательств тысячи! ответил Лукин, но не привел ни одного. — Но помотал головой и надул губы: дескать, что с невеждами разговаривать! Но сидевший около Гусар возмущился.

— То-есть как? Мы — русские перейдем в существа низшие и грубые, а американцы, немцы и французы, — в существа высшие?

— Да, конечно! ответил Лукин твердо (с уверенностью и знанием). При этом он вытянул подбородок и закатил слегка глаза, смотря как-то боком снизу вверх. Эта поза считалась (им) убедительной сама по себе.

— Один из ваших народов «высших» погряз в эгоистических распрях и потерял великодержавность! продолжал Гусар, а другой — американцы во имя гуманизма и свободы хочет «ввести коммунизм в свое русло», то-есть предоставить на съедение (коммунистами) и муки огромный народ, лишь бы ему самому жилось хорошо! Показывая не только свой эгоизм, но и жестокость\*)! Ваша теория — это же гитлеризм! — высшие и низшие расы!

— А ваши доказательства — ордюр!!! (с французского, — что значит: мусор) и никакой ценности не имеют. — Вспылил Лукин, обидевшись за гитлеризм.

— То-есть... Позвольте...

— Народ имеет правительство, которого он достоин, — продолжал Лукин.

— То-есть позвольте! Вы считаете, что русский народ достоин коммунизма, концентрационных лагерей, расстрелов, чрезвычайки, колхозов?

Лукин опять вытянул подбородок и пожевал гу-

---

\*) Явный намек на политику Dulles'a.

бами, покачивая слегка головой. — Опять, как доказательство, в смысле « что де собственно говоря и принимая во внимание, — да », но слова не промолвил.

— И по вашему все равно, была Императорская Россия и — народ был достоин и СССР? продолжал Гусар, распалившись.

— Тогда было немного лучше... Николай II был слабой личностью...

— То-есть как? Государь, — этот благороднейший человек, геройски погибший, — был слабой личностью? Вы натаскались у Милюкова!\*) и больше ничего не знаете!.. И « тогда » было только « немного лучше »? Вы знаете, что я монархист и меня оскорбляете!!!

Полная дама в розовом капоте ушла « от греха », зато другая дама, сунув нос в комнату и видя, что дело может кончиться плохо, сбегала за женой Гусара.

Та пришла. Маленькая. Сероглазая. Твердая, как сталь. Посмотрела птичьим глазом. Опустила немного правую руку. Стала крепко, да на своего богатыря:

— Ты что это тут горланешь!? Иди ка лучше постель свою прибери!

— А? Что? Сейчас...

— Не сейчас, а иди сразу!

— Да я иду, Милочка!

И Гусар встал. Пробормотал что-то вроде: « Я не хотел вас обидеть » и пошел убирать кровать.

Любопытно было наблюдать власть этой маленькой женщины над своим богатырем. Он не прочь был выпить, но она ему разрешала только две рюмки и делала вид, что не замечет, когда он выпивал третью и знала-догадывалась, что до начала выпивки его друзья ему устроивали не-в-счет еще одну. Но никогда дальше четырех — в сумме — не шло. (Догадывалась

---

\*) П.Н. Милюков, бывший член Временного Правительства, лидер Республиканско—Демократического Объединения во Франции. Историк. Редактор « Последних Новостей ».

и о порожнем-кальвадосе)... Сидела, как статуя. Даже на него не смотрела. И он не пил.

Когда ему всеми правдами и неправдами удавалось выпить четыре попойки, то хотелось «поспівать» свои «українські» песни. И только начнет...

...«казаки йдуть,

Поперед всіх Сагайдачний». —

— Ну что горло дерешь? Подумаешь, какой несчастный! И врешь, просто уши вянут! И он переставал петь и смотрел на свою Милочку красивыми карими телячьими глазами. Пел правда он плохо, а водку пить ему было вредно.

Через минуту Лукин за свое ренегатство был наказан! Он свалился с лестницы и ударился затылком об ступеньку. Сидел внизу раскаряченный и потерявший память. — Словно невидимое астральная коленка спустила его с лестницы... Даже свою машину (был шофером-собственником) не узнал. Спросил: «Чья это машина?» Чем очень напугал жену («Дело явно плохо!»)

Тот же Гусар съездил за доктором. Наступил мир.

## Глава V

Когда на смену Почти — князю и его жене приехала новая пара: Гриша — богатырь с женой — бывшей балериной, то сердце Шавилова екнуло и продолжало екать все сильнее и сильнее. Гриша же принадлежал к разряду людей необыкновенно спокойных, рассудительных и для которых: гусь-птица неудобная, — одного (съесть) — много, а половину, — мало. Жена же его — Ольга Ивановна — дама лет под пятьдесят с глазами карими, с приятным дородством, где «все на месте» и «все есть». С движениями плавными, со взглядом приветливым, с речью отзывчивой и на шутку и на мысль. А в глазах была и душа, и тело, и ум. Россия рождала таких почти-красавиц. Вышла да-

ма к обеду, взглянула на Шавилова, а у того сердце : « ёк ! ». Легкая сладостная жуть разлилась по всему телу и проникла даже в большие пальцы ног. — « Как она хороша ! » — подумал Шавилов. А дама слегка почесала свое маленькое ушко. — « Боже, как это прекрасно ! » опять подумал Шавилов... А вот она повернула голову и с грацией и редко мигая снова взглянула на него. — А в глазах — « женская душа ». — И покорен был Шавилов. И та потребность восторга, потребность возвышенного, женско-прекрасного, которая жила в нем, — нашла свой выход. И стал он ее верным рыцарем. И можно было наблюдать в окошко кухни, которое выходило в огород (он же сад) : полола дама и около рыцарь с корзинкой для сорной травы, — и изысканным жестом корзинка подавалась. Дама полола — для моциона. Сам он не полол — это было бы утомительно... На прогулках он около. — Как интересно было задать вопрос и получить ответ. В глаза смотреть. — И все ответы замечательны ! А муж спокойно спрашивал : « Я уж не знаю, кто муж ? » И уходил утром ловить рыбу, а под вечер рисовать. А за обедом и ужином съедал три порции, конкурируя с Гусаром.

\*\*  
\*

Графиня де Клок написала Лукину-колдуну из Испании. Она продала квартиру в Париже и туда уехала. « Льстит Борису (Лукину) просто невероятно (рассказывала Лукина). Будто бы заблудилась... в море ! — Плавая ! Самой 60 и кривобокая. — И будто бы вспомнила Бориса, сняла медальон с груди и стал ей медальон путь указывать... А обо мне : лишь в конце привет. От Испании она в восторге ! Рабочим, пишет, платить почти ничего не надо ! Прачка к ней на целый день приходит. Платит 150 фр. (старых). Горничная все « рвет из рук » и ничего не дает делать... Устроила выставку своих картин (она была художницей). — Были : царь Симеон Болгарский, Император Владимир,

инфанта, гранды испанские... По ночам разговаривает с каким-то маркизом, который ей с лакеем цветы посылает. Слух идет (сама пишет), что дело может кончиться браком... Окончательно себя за маркизу считает... И просит прислать красок!» (так называемый «царь Симеон» — это претендент на болгарский престол, император Владимир, — это кн. Владимир Кириллович, претендент на русский).

\*\*  
\*

Выдался хороший день и всей компанией пошли купаться. Речка мелкая, вода холодная. Дамы разлеглись — в купальных костюмах-веерпом, «попки» вверх лежат и разговаривают. Мужчины ходят около, — тоже в купальных костюмах, — но стесняясь своей наготы. Гусар уже пошел бултыхаться, гогочет и кричит, что хорошо.

Дамы лежали на одеялах головами внутрь и пятками наружу. На пятках играло солнце. Но, конечно, солнце освещало и «играло» не только на пятках! Оно освещало этот прекрасный уголок с заброшенной мельницей, пронизывало насквозь огромную ель особой серебристой породы с мелкой торчащей хвоей и аромат этой ели-нагретой солнцем-мешался с ароматом «тинки» от речки. Горячие лучи его хотели, казалось, задержать бег речки и речка в мелкой волне и серебрясь, как рыбка, — не давалась, не останавливалась. Голубое небо как бы покрывало этот пейзаж куполом безмятежности и счастья. Русские были среди своих. Французов не было. Легкое настроение блаженства наполняло души. По берегам склонялись ивы и ольха. Прямо на горку — лес, а с одного боку навзволок начинались поля. Пейзаж был русским. Дамы были самого разного типа. — Даже странно как один народ мог дать такое разнообразие, — хотя и было в них что-то общее, что можно было распознать по выражению лица и глаз. — Тоже было и среди мужчин.



Крупная блондинка рассказывала маленькой брюнетке, а остальные слушали. — «Прихожу я к Кики...»

— А кто такое Кики?

— Как? Жена Ники...

— А кто такое Ника?

В это время стеди мужчин Лебедев сказал: «Какое счастье для России, что Сталин умер!» — Вдруг, неожиданно для него Шавилов:

— Почему вы так думаете?

— Этот человек погубил революцию и чуть не погубил России!

— Да почему? возвысил голос Шавилов.

— Ждали земли и воли, а получили колхозы и концентрационные лагеря! И пикнуть нельзя! Надо было кланяться и благодарить! Отец народов! Корифей науки! — Недоучившиеся семинарист. Ему русского народа не жалко, он сам грузин... Даже Ленин насильно колхозов на вводил, а ввел НЭП, дав свободу мелкой торговле и ремеслу.

— Да что вы? Что с вами? Откуда вы взяли?

— Чуть третью мировую войну не вызвал... А как шел навстречу России благородный Рузвельт! За чем полез в Грецию? Что вышло теперь с Германией?.. Вы знаете, в современной России должно было бы быть триста миллионов! а есть двести. — Сталин «немножко резал. Я говорю, конечно, с учетом неродившихся».

— Ну простите, это уж неверно.

— Вы просто от статистике не имеете понятия!.. Небось у вас французский паспорт. — А каково там живет. — Вы даже Манилова «переплонули»...

Спор привлек других. Вылезал — спешил Гусар и на его толстом животе играло солнце...

«Что я к нему привязался, подумал Лебедев. Горбатого лишь могила исправит»... Шавилов был бледен, как смерть... И Лебедев — мрачный — отошел. А к Шавилову подошла жена и сказала мужу с упреком

и тихим голосом: « Не спорь, Петя. Ты знаешь, тебе вредно. Спать потом не будешь »...

Все начали готовиться к купанью. Лезли в воду в туфлях, т. к. дно было усеяно острыми камнями... Речка мелкая. Плавать было почти невозможно. Половина первого « Маленький Маршал », — как звали тихую, но решительную Шавилову погнала всех домой. — « А то к обеду опаздаем. Надо ее (хозяйку) приучать к аккуратности... Я просила давать в час! Ждешь — время пропадает »...

Все потянулись через лес по тропинке. Последняя группа состояла из Капитанши, Шавилова, Гусара и Лебедева. Вдруг Шавилов, ни слова не говоря, растянулся и лег на дороге. Все удивились чрезвычайно. На него смотрят, а он лежит бледный, как смерть и молчит.

— Что с вами? Что?

Не отвечает. Гусар подложил ему под голову свою фуфайку.

Вдруг Шавилов промолвил: « Сердце. Мне сказали, что если плохо с сердцем, то надо лечь »...

— Отдохнули?.. Может быть пойдём. — Мы вам поможем. — Лучше дома на постели или в длинном кресле...

Когда вернулись, то все сразу догадались... « Надо как-нибудь скрыть от Софьи Владимировны (Шавиловой), а то она уж очень будет волноваться ». Усадили в кресло. Гусарша принесла какую-то пилюльку от сердца. Шавилов проглотил и сидит.

Вдруг появилась Шавилова. И заволновалась. — « Ты что так сидишь? Ты что-то принимал? сказала она, глядя на стакан с водой. Нельзя без доктора! И забегала и засуетилась, попросила съездить за доктором. Мужа укутала в одеяло, положила подушку под голову. Но продолжала ворчать на Гусаршу, — зачем та дала пилюльку... « Говорила тебе, нельзя спорить. Ты всегда волнуешься от политических споров »...

Лебедев чувствовал себя неловко, словно он был причиной болезни.

Приехал доктор. Ничего серьезного не нашел. Прописал лекарства, покой, диету. Больной был окружен уходом и вниманием... Ему не нравилась только диета, так как он любил поесть. А в остальном: эта атмосфера услужливости, ласки, вежливости, которой он теперь был окружен, — ему чрезвычайно была приятна. И она — Ольга Иванова — придет поговорить.

— Попробуйте. — У меня жар? говорил он ей. Та клала свою прекрасную руку ему на голову: «Нет, у вас нет температуры».

— А пульс как? — Та считала пульс. И рука ее была теплая.

— Пульс нормальный — 75.

— Вот видите, а у меня обычно 70. Может быть посчитаете на другой руке?

— Да зачем же?..

И он взял ее ручку и поцеловал. Ему хотелось бы прижать эту ручку к своей щеке и потом целовать, целовать.

— Мне надо письма писать. И она ушла.

А он думал: «Есть же такие счастливые люди, как ее муж. А ведь медведь! Ничего не понимает. Ходит и не сознает своего счастья! Боже! до чего бывают прекрасны женщины. — Женцина, поправился он. Одна-единственная. Он чувствовал на лбу то место, куда она положила свою руку. И это место казалось теплым и радовало, грело... И где пробывала пульс. Волна тихого счастья наполнила его и в полу-дреме ему виделся ему — почудился — ажурный мост. Он и она на мосту. А там вдали Кремль виден. И в Кремле Маленков с Хрущевым чай пьют и народные нужды обсуждают... А эти американцы и «Фигаро» (консервативная французская газета) все Россию травят, злобой пышут!»

Он открыл глаза. Около стояла жена и смотрела на него с заботой, с беспокойством и любовью.



Приехал хозяин — муж Катюши. По прозванию « Умирающий Лебедь ». Был он хил, на ногах не тверд. Работал как шофер-собственник в Париже. Выставил за обедом бутылку сизой водки и на тарелочке : колбаса. После двух рюмок бутылку закупорил и спрятал под стол.

Катюша до комизма оберегала его нравственность. Когда приходила прачка с дочерью стирать белье, то она давала мужу усиленную дозу снотворного. Если какая-нибудь дама рассядется в кресле, то выходила и покрывала колени платком. Раз другая дама, довольно легко — одетая (ведь лето !) стала в дверях, а солнце ее просвечивало, так она закричала мужу : « Не смотри ! Не смотри ! » А этому Умирающему Лебедю было смеяться и жил в Париже один.

Он очень любил играть в бридж, но играл плохо и не всегда его допускали. Один раз открыл он карты, а у него на руках чистый малый шлем. — Так он заплакал ! Смотрят, а он слезы вытирает и всхлипывает. Потом объявил : « Малый шлем в бубнах ! » Съиграл большой, — у партнера оказался туз ! « Спросить » этого туза не посмел.



Так один раз, — погода была хорошая, — сидели бриджисты в беседке после ужина и играли. — Беседка находилась на дворе и представляла из себя вроде домика с полу-стенами, обвитыми плющем и крыта была соломой. Ярко горела синеватым огнем электрическая лампа. Ночь была темная. Безлунная. — Об этом капитан давно объявил. Среди тьмы ярко освещенные люди казались неестественными. И все кругом тихо. Другие пошли гулять. Собирались как всегда долго. Ходили-приходили-спрашивали, наконец калитка звякнула и они ушли и для игроков наступил покой.

— А то ведь и их манили гулять и стыдили, что в деревне, на каникулах, в хорошую погоду играют в карты!

Так прошел час. Вдруг из тьмы почти неслышно подходят три больших фигуры. Игроки увлекшись на них внимания не обращают, — думают, — смотрят, как играют в карты — интересуются. Вернулись с прогулки... А те молчат. А взглянули и замерли от удивления: Гусар и Шавилов — оба большие и одетые в светлое, а между ними повисла на руках полная крупная Капитанша и все лицо у нее в крови и глаза вытаращены и остановились. После первого изумления начались расспросы. Оказалось, шли они все по шоссе и на них налетел сзади ехавший без фонаря велосипедист. Сбил с ног Шавилову и Капитаншу. — «Я ударилась так головой и подбородком, что у меня во рту словно песок!» — слышалось сзади, — тут только заметили глаза Шавиловой и она, маленькая и одетая в черное, вышла из тени.

— Ну что же вы — мужчины!?

— Подняли дам.

— А потом?

— Потом пошли к нему (велосипедисту) и стали спрашивать, не расшибся ли он. А он сказал, что свет у него испортился и быстро сел на велосипед и уехал.

— Это вместо того, чтобы ему дать в морду! Едет без света быстро! Жандармам надо сказать! Они ему пропишут!...

И на другой день «шумели»: «жандармам бы сказать». У Шавиловой болели зубы. Капитанше еще в тот же вечер промыли раны и залепили или смазали меркюр-о-хромом. На другой день Капитанша писала матери и дочери и тихо плакала над своей возможной судьбой. И слезы капали на бумагу. «Я ведь могла бы быть убитой!» думала она. И ждала ответа, где бы ее жалели и ужасались происшествию. — Этот мир нежных и сентиментальных чувств был велик и вечен

в душе Капитанши и его до конца не понимали даже свои близкие. — Это был, как некий сад в постоянном цветении и ароматах, где тенистые аллеи и уютные скамейки, где круглый год светит луна и поет соловей. А что в Капитанше было 95 кило, — не в этом суть.



« Ужин у меня восторга не вызывает ! » — поэтическое изречение Гусара (он ведь и поэт), а вот обед... Одна француженка — актриса польского происхождения, понимавшая по-русски — жена французского актера-симпатичнейшего человека — побывала на этой ферме, — приехала в гости к Лукиной, — говорила : « Вы прямо, как у Чехова ! Я думала, что я присутствую на пьесе Чехова »... Замечание любопытнейшее...

Этот переливчатый разговор, дружеские шутки, какая-то « взаимная улыбка ». А то вдруг вспыхнет, как пламя, спор, и снова затихнет, и снова — дружно. ...Плавность движений. — Получалась какая-то музыка и балет.

Конечно, говорили, что Бог на душу положит. Говорили о русском языке, за чистотой которого все следили и о правильности слова или фразы, иногда спорили. Говорили, как учат иностранцы или иностранцев русскому языку. Приводили смешные примеры, которые были в самоучителях.

Вот из немецкого самоучителя : —

Вопрос. — Что это ? Ответ : « Это белое ».

Вопрос : « Чье это белое ? » Ответ : « Это белое булочника ».

Вопрос : « Это белое какого булочника ? » Ответ : « Это белое честного(!) булочника ».

Вопрос : « А какое это белое ? » Ответ : « Это исподнее (!) белое честного булочника ».

Я вам дам из испанского сказал Гриша-Богатырь. Вопрос : « Бодал ли вас бык сегодня ? »

Ответ : « Да он меня боднул ! »

Все засмеялись. — « Это пример на глаголы совершенного и несовершенного вида », сказал Лебедев... И вдруг Катюша-хозяйка обратилась к нему; — прямо на него смотря: « А почему это вы, Александр Иванович, никогда мне не улыбаетесь, а всем другим улыбаетесь? »... Все как-то затихли и подумали: « А ведь правда! » И Лебедев тоже подумал: « А ведь правда... Ты, матушка, персонаж Островского, а мы Чехова... Не только, конечно. — И Толстого, и Достоевского... » А ей вслух: — « У вас муж очень ревнивый! » — Все снова засмеялись. Даже муж улыбнулся.

Шавилов и за обедом и за ужином продолжал ухаживать за Ольгой Ивановной. — При муже. И вдруг он обратился к « обществу ». — « Господа, но как же любовь у пожилых? — Ей пятьдесят, мне шестьдесят. Она уже не может иметь детей. — О! Что я! и он схватился за голову, от такой ужасной мысли или фразы. И если я, допустим, не могу иметь детей, тем не менее продолжал он, — я же влюблен! — Все заулыбались какой-то лукавой и сочувствующей улыбкой. — Любовь же между нами пожилыми может быть? Какая же это любовь? Как любить?.. »

И в это время: тихий голос его жены: « Петя, хочешь еще мяса. Мне много ». Шавилов-Петя медленно повернул голову по направлению жены и ничего не промолвил. — Она ему быстренько положила мясо и он, будто бы не замечая, стал его есть. — И опять к Ольге Ивановне:

— Вы любите Некрасова?

— Не люблю Некрасова... Сам все за бедных, — а сам в шубе с бобровым воротником ходил и жил барином, — в свое удовольствие...

Положение Шавилова было не из легких: он сам за бедных и сам бы хотел ходить в шубе... с бобровым воротником...

— Петя, не ешь много хлеба...

После обеда Шавилов подошел к Ольге Ивановне, — сконфуженный о сильным румянцем на бледном

уже старческом лице и, кавалерственно изогнувшись, сказал. — « Мне бы хотелось вас попросить об одной и большой, и важной вещи, Ольга Ивановна... »

— Что же это такое ? Сделаю, если смогу, с удовольствием.

— Можно... вас... поцеловать ?

— Что вы, Петр Александрович ! Мы же не гимназисты !

— ...Почему ?.. Любви все возрасты покорны...

— Да, может быть, но ее « порывы не всегда благотворны »...

\*\*  
\*

Вечером, ложась спать, Лебедев нашел у себя в постели красную розу.

## Глава VI

Уже близок отъезд. Гусар сильно загрустил. Даже надел пегую американскую рубашку и думает с тоской, что скоро снова придется носить ливрею, отворять дверцу автомобиля и снимать картуз.

\*\*  
\*

Шавиловы получили письмо от « греков »-их друзей, из Греции, что их дочь с мужем-греком и свекром по пути из Германии завернут к ним повидаться.

\*\*  
\*

— Александр Иванович ! Как движается ваш роман ?

— Спасибо ! Ничего.

— А кто у вас является героем романа ?

— Мы все. Представители « старой белой » эми-



грации. — Сама эмиграция. Я вывожу может быть — двадцать разных человек — « в переплетении » и в единстве. Самыми верными русскими осталась интеллигенция. Во время немцев во главе сторонников Гитлера были: князь Горчаков и казак Жеребков. Меня заманивали, угрожали, требовали что-то подписать... Если б вы видели: кто там собирался и собрался. — Взять в отдельности: люди, как люди, есть и симпатичные. А присмотреться: у одного голова шлыком, у другого лошадиная физиономия, у третьего глаза стеклянные, четвертый ходит боком, пятый прищипывает... Явно дегенераты. Собирались стать губернаторами. Конечно, не все аристократы, не все казаки. Но вся масса интеллигенции, оставаясь анти-коммунистами, была за победу России хотя бы советской.

В моем романе нет ни убийства ни насилия над женщиной. — А чувства затаились, преломились, приняли закамуфлированную форму. Почему вы думаете Лукин жаждет чудесного? Хочет верить в необыкновенное? Почему наш Капитан когда везет клиентов, как шофер-такси, воображает, что он батареей командует, разворачивает ее и с передков орудия снимает, а не клиентов? Что мечется Гусар? Почему я пишу роман, хотя знаю, что в наших эмигрантских условиях напечатать его не удастся?

Мы все ждем чуда России. Чуда возрождения. И не для того, чтобы быть губернаторами, а чтобы служить ей... — От Гусара, до Барбиша.

Долго тянущееся время. События. Трудная эмигрантская жизнь как бы посыпала пеплом наш « жар », но он не потух.

— Да. Это верно.

\*\*

Отпуск кончается. Завтра большинство уезжает. А выдался хороший день. Что в этом году редкость. Пошли играть в « петанк » на лесной дороге. Расчитать

удар трудно : хотя, шишки, листья. « Свинку » —цель от солнечных пятен плохо видно.

Разбились на две партии : Лебедевская с Лукиными и Гриши-богатыря с его женой и Капитаном. Шавиловы сидели под деревом : он читал « Экспресс » Мандес-Франса, а она вязала. Александр Михайлович — очень пожилой г-н читал Алданова. Остальные следили за игрой.

Играли с азартом. И игроки и зрители : ободряли, подшучивали, восторгались...

Вдруг на шоссе — около остановился автомобиль, а в нем Катюша (!) и незнакомые люди.

— Это ваши греки приехали !!! закричали Шавиловым. (Они их ждали). И действительно, оказалось, — греки. На них смотреть не пошли, — время есть ! А удачно приехали ! Сегодня как раз организуется « прощальная выпивка », — выставляет Александр Михайлович. — Водку и закуску.

Продолжали играть и Лебедевская партия выиграла с необыкновенным счетом : 15 на ноль ! Просто небывало !

Гришины попросили реванша.

— Пожалуйста !..

— Александр Михайлович ! Вам пора !

— А ?

— Вам пора ! Опоздаете ! Закуску готовить !

— А ? Хорошо !

Александр Михайлович сильно глух и стар. Пока дойдет. А это он звездует выпивкой. — Сам вызвался... И вечно читает. — « Я, говорит, немного почитаю ». И в это время все забывает. — Помогли ему подняться.

Кончили новую партию и Лебедевские опять выиграли с блеском : 15 на 4. — У вас « кишка тонка ! » так « им » и сказали, и пошли вместе домой. Проигравшие понуро, а Борис (Лукин) — гордо. Ноги разбрасывает в разные стороны ! Смотрит козырем. Он себя воображал лучшим игроком. Был единственным « вы-

шибалой» и, когда в ударе, то играл действительно хорошо.

Компания «греков» состояла: из русской дамы — Ольги Борисовны, ея мужа — грека и свекора.

Сели обедать. Свекор говорил только по-гречески, но был необыкновенно выразителен. Он всплескивал не без грации рукой, — то одной, то другой, то двумя. Качал головой. Играл лицом и глазами. Иногда он вздымал обе руки, — (в одной рюмка) и произносил таинственное: «О-х-е!». Один раз невестка служила ему переводчицей. — Он спросил: «Кто здесь старший?» Ему быстренько ответили: «Хозяин» и указали. Он же, подняв рюмку по направлению к хозяину, с некой важностью воскликнул: «О-х-е!»

— «О-х-е!» сказали все остальные и выпили. Хозяин же сказал: «Ме-ме-ме».

Когда Ольга Борисовна узнала, что Лебедев собирается уезжать на другой день рано утром, то предложила отвезти в Париж сейчас-вечером. «Муж будет рад». И стала уговаривать... Согласился.

— А как вы относитесь к французам? спросила она.

— Хорошо. Нам, конечно, не легко живется. — Корней нет. И другой склад и другая культура. И... Россию забыть не можем.

— Да, видимо нигде хорошо не живется (русским). И она вздохнула. Мой свекор видел, как французы целуются, — в метро, на улице. — Так он прямо позеленел от злости! А русские целуются?

— Нет. Француженки очень обвинять нельзя. — Они непосредственны. — «Культура любви» еще со времен королей у них «открытая». Виноваты больше мужчины-французы. Провинция ведет себя иначе...

— Я считаю, что всегда виноваты мужчины...

---

\*) Приезд греков, как рассказ, позднее был помещен в «Нов. Рус. Слове».

Вдруг она сказала: «ВОТ ВАМ СПАСИБО! Я ТАК РАДА, ЧТО МОГЛА НА ВАС НА ВСЕХ НАСМОТРЕТЬСЯ! ЭТО ДАСТ МНЕ СИЛЫ! БУДУ ВСПОМИНАТЬ!»

Эта фраза ударила Лебедева, как ножом по сердцу! Мурашки пошли. — «Нас, думал он, — обыкновенных русских: «Насмотреться, вспоминать!» — До чего она несчастна и одинока! Без русских. Без «маленькой России».

Отпуск кончился.

---

\*) Сцена с греками полностью приведена во втором томе (в конце): «Война и после войны». Здесь я привожу (повторяю) лишь незначительные выдержки, поскольку они иллюстрируют идею «обособленности русских», их «своей стати» которая открывается лишь среди своих-русских. Сами они этого могут и не замечать.

## ПРЕКРАСНАЯ МАРЬЯ ПЕТРОВНА

*Посвящается « Царевнушке »*

*« Петербург и Москва »*

Я, г-да, — Николай Николаевич Ива́нов \*), а не Иванóв \*), — воспитания петербургского. Человек принципиальный. Форма и формальная сторона для меня не пустой звук. Да здравствует закон и законность ! — Воры должны сидеть в тюрьмах, сумасшедшие в « желтых домах », а пьяницы, — в лечебницах или кутузках. Вы думаете, у нас — у петербуржцев нет сердца ? — Вот пример : когда умерла вдовствующая Императрица Мария Федоровна, — жена Павла I, то полицейский плакал и говорил : « Как же мы теперь без Вдовствующей Императрицы будем ? »...

И против Петербурга была Москва, — бунтуя и будируя, — со своими : стрельцами, юродивыми, пьяными кутежами, чаепитием, разухабистым сердцем, колокольным звоном...

Нужно же было случится так, что здесь — в Париже, в моей собственной квартире, — поселилась дама московского воспитания, — Марья Петровна ! — Для

---

\*) Ива́нов — произношение петербургское, Иванóв — московское.

ея « разухабистого сердца » (о, конечно, — доброго !) сумасшедшие, пьяницы и воры, — самые разлюбезные люди (*их то и жалеть !*). И всех их она зовет по имени и по отчеству...

Иду играть в бридж (вариант петербургского винта). Надеваю пальто. Вдруг : быстро и безшумно, как на лыжах, как ночная птица, появляется из своей комнаты Марья Петровна. Закрывает плотно за собой дверь, приближается ко мне близко-близко (« О Боже, думаю, — вот-вот обнимет ! — Но не то ! ) — Она шепчет : « У меня в комнате сидит выпущенный из Сантэ чет : « У меня в комнате сидит Иван Павлович и пьет (тюрьмы). — Скажите громко, что вы скоро вернетесь ». — И так же « на лыжах », и так же, « как ночная птица », — исчезла. — И меня не обняла !

Я выждал, громко сказал : « Я сейчас вернусь, Марья Петровна » » И хлопнул дверью.

\*\*

Сильнейший звонок !!! Сыпется штукатурка. (У нас в передней давно пора потолок перекрасить). — В чем дело ? — Клавдия Григорьевна — ненормальная пришла чай пить (не ко мне, конечно !). — Чаек попивает, пироги ест (постные) и с важностью : « Ши-ши, да ши-ши » говорит. Марья Петровна реплики подает, чай тоже пьет а потом уходит (!) и ее оставляет одну « отдахнуть » (Ненормальную-то).

— Сначала — тишина. Потом, слышу та, хлопает в ладоши, да как закричит : « Кукаруку !!! Кукаруку !!! » Опять тишина. А после ко мне громкий стук в дверь !

— Войдите !, говорю.

— Глаза горят ! Спрашивает : « А что Марья Петровна вернется ? » (По чем я знаю ?). — А дальше начинает что-то : « Ши-ши », да « Ши-ши ». — Невнятно. А глаза пламенеют. — Я, как могу, успокаиваю.

« Лучше, говорю, вам домой идти ! А то темнеет ! »

А сам на нее строго петухом смотрю (Раз « кукареку » пела. Да и петух-птица без жалости, а с ними без строгости нельзя !)

Послушалась. Пошла домой.

А раз пришел пьяница и нищий « Григорий Алексеевич ». Видимо пропустил, как Марья Петровна из церкви выходила, — так он пришел на квартиру. — Я говорю ему, что Марьи Петровны нету, и что по воскресеньям она на целый день уходит. — А он мне с наглостью, а у самого лицо красное, вином отдает и глаза, как у окуня :

— Дайте мне двадцать франков, иначе я не уйду и буду ждать ! И рассказывает в передней !

Тут уж я глаза съузил, « милостивым государем » повеличал, дверь широко распахнул, да попросел « честью » ! — Небось, хвост московский поджал и выкатился !

В еще раз пьяница, не этот, а другой, Сидор Макарыч, съиграл со мной штуку, сам того не зная. — Дело было так : спрашивает меня Марья Петровна (зима началась) : « Есть ли у вас теплые перчатки ? » — Нужно сказать, что Марья Петровна получала всякие дары для раздачи. — Я отвечаю, что теплых перчаток у меня нету.

— Так вот вам ! говорит она и дарит мне с широким жестом прекрасные кожаные перчатки на байке. — Я поблагодарил, а сам удивляюсь, как это вдруг « обыкновенные труженники » начинают пользоваться ее вниманием !

Проходит неделя. Опять вопрос :

— Вы помните, я вам подарила теплые перчатки ?

— Помню !

— А они у вас целы ?

— Целы.

— Так вот, я *хочу их у вас отобрать...*

— Пожалуйста ! сказал я со своим петербургским воспитанием... И подарила Марья Петровна *пьянице* Сидору Макарычу, который их и не приминул загнать

и пропить, а мы-непьющие остались с носом! — Меня — петербуржца раздражала не потеря прекрасных кожаных перчаток, а то, что слово «подарочное» не сдержано было.

Все эти истории происходят в домашней обстановке, в своей «атмосфере». Шмыгает везде, где можно и «неможно» трехцветная кошка Марьи Петровны, таращит глаза и просит есть: «мясца бы!» Держит же ее Марья Петровна по-преимуществу на постной пище, — так де для здоровья лучше, (и кошка научилась «кушать»: хлеб, картофель, овсянку, сдобренную крошками мяса или надушенную взятой у меня куриной косточкой).

Установились всякие почти-традиции (приятные или мало-приятные, — вопрос второй!). — Стоит например мне поставить чайник, — как через три минуты стук ко мне в дверь, просовывается красивая с проседью голова Марьи Петровны, с горбатым тонким носом и темными без блеска глазами, — и говорит: «Ваш чайник кипит!» — И это повторялось *регулярно*. Сначала меня забавляло, а потом слегка раздражало. — Главное: чайник совсем не *кипел*, а только начинал шуметь. Чем объяснить? — То ли это было: хотелось поговорить хотя бы о чайнике или же, — из «экономии», так как Марья Петровна платила одну треть за газ.

— И этим дело не кончалось. — Налью я себе чашку чая, и попиваю. — Иду за второй, — а *кипятилка то нету!* Тю-тю! — Марья Петровна уже тихонько шмыгнула в кухню и себе большую чашку налила.

— Вот так и жили. — Прихожу с работы уставший. Ставлю на маленький огонь чайник. Сажусь в кресло и разворачиваю газету. Окно в моей комнате на запад и, если дни большие, то льется на меня какой-то желто-розовый свет солнца, — заходящий, всюду — проникающий, дружеский. Я начинаю отходить, чувствовать себя «человеком». Какая-нибудь часто



абстрактная мысль, помимо газеты, появляется в голове. — А тут: стук в дверь, «Ваш чайник кипит!» — «Спасибо!» (а в душе: «Фу-ты, ну-ты!»).

\*\*

И вопрос со звонками, г-да! — Это же целая проблема! — *Кому открывать?* — Конечно, — Марья Петровна — дама и прекрасная. — но я ведь тоже «солидный господин» и недурен! Живем мы вместе уже пятнадцать лет! Пора бы признать «равенство полов»! А главное: у Марьи Петровны множество знакомых, она, кроме того, дает уроки, — я же, как петербуржец, мало общителен и знакомлюсь с разбором, и не люблю, чтобы меня «безпокоили», — витаю в своих мыслях. — Ей же и самой побезпокоить, и чтобы ее побезпокоили, — дело естественное. — Она вся в чувствах! — Вдобавок, комната ее около самой двери! — Итак: кому открывать?

Звонок!!! Я выжидаю: *уверен*, что не ко мне! Но Марья Петровна выжидает еще «*пуще*»: а вдруг не к ней! Да и она «Дама». Приходится открывать мне!

Расскажу, связанное с этим присшествие, до сих пор с горечью на моей душе лежащее.

Звонок! — Я выжидаю. — Не тут то было! Приходится открывать. Ко мне навстрету скользит Марья Петровна и шепчет:

— Если ко мне, то меня нет дома! и прячется в кухне.

Я уже недоволен, что приходится врать (очень не люблю!)

Открываю. — У дверей почтенная дама.

— Марья Петровна дома?

— К сожалению, нет!

— А когда вернется?

— Не знаю.

Вдруг голос из кухни: «Это Вера Владимировна?»

— Да!

— Для вас я всегда дома! — И торжественно выплывает и целуется с дамой.

Каково? — Я смущенно бормочу: «Извините!»

\*\*  
\*

Случалось иногда и мне поулыбаться, наблюдая «московские штучки».

Я пришел с работы, поставил чайник на маленький огонь и развернул газету...

— Ваш чайник кипит!

— Спасибо! а сам не двигаюсь. Знаю, — есть еще у меня две-три минуты. Звонок! — Выдерживаю марку. Продолжаю не двигаться. Ко мне-некому. Да и закон не выяснил: кому открывать. «Сенатского разъяснения не было». Оказывается, это ученик к Марье Петровне. Она это знала и у нас состязания, — кому открывать, — не имело места. А то ведь в этом случае иду все же я.

— Павлик! Хочешь чаю?

Павлик хочет.

— Вот что. — Ты, пока мой чайник закипит, — сбегай в лавочку и купи кошке лошадиного мяса 50 грамм и нам хлеба.

Павлик сбегал. Начинается чаепитие. — Никогда еще, кажется Павлику, он такого вкусного чая не пил! Да и урок оттягивается.

— Ты масла то намазывай! Не стесняйся!

Павлик намазывает. Не стесняется...

Вдруг лицо Марьи Петровны меняется и она говорит строго. — «Ну, теперь садись!» (Он уже сидел, но это значило: «Давай заниматься!») Проспрягай мне настоящее время от глагола «любить»,

— Я люблю, начинает мальчик, — ты.. (Учительница смотрит на него, уставившись темными глазами. Он задержался и думает: «Где тут подвох? Мальчик — русский и прекрасно знает, что дальше: «Ты любишь» Что исчезло «л», — ему наплевать...)

— Что? Не знаешь!? Кол тебе! Двойка! Провалился» А еще русский. Как стыдно! Теперь весь мир учит русский язык!

Мне жалко мальчика. (Видите, и у петербуржцев есть сердце!). Он мне был симпатичен со своим типично-русскими слегка угрюмыми, как у медвеженка глазами. — А мальчик думает: «Вот как обернулось! То в лавку бегал, то чай пил! А теперь: кол! И слово — то какое...»

Урок кончился. Марья Петровна лаково заулыбалась. —

— Ты не проголодался?

— Нет! отвечает мальчик, (только бы ноги унести!)

— Ну, иди с Богом! и она его крестит и целует.

У мальчика отлегло от сердца, хотя и легкое «еканье» осталось...



Москва и Петербург, — две столицы! Люди в них разные, но необходимое дополнение... Может быть (даже наверно) Николай Николаевич на уроке мальчика в лавочку не посылал и чаем не поил, — чтоб не терять время и «колом» не пугал, — что было явно преувеличено. — Но и не целовал бы и не крестил... на прощанье...

Конечно, Марья Петровна лучше Николая Николаевича. У нее сердце любви обильное.. Им она живет. Им руководствуется. — Что может быть выше. Но и Николая Николаевича можно понять.

## « Церковная генеральша »

Бывали, — есть, — генералы от инфантерии, от кавалерии... А вот существуют и « генералы от церкви ». — На практике. Здесь женский пол доминирует над мужским. Я знаю только одного такого генерала, да и то в Нуази-ле-Гран. Там он, когда священника не было, даже какие-то службы устраивал. Пансионеров сгонял. В нашей церкви есть один « церковный полковник » и есть « генеральша ». Чин куда выше !

Для этих людей аналогия с военным вполне допустима. — Они строго придерживаются устава. В своей области : специалисты и авторитетны. Сами чинопочитают, но и себе требуют чинопочитания... *Сомнений у них нет !* Выше себя ставят только священника (и, конечно, архиерея), а к дьякону и псаломщику относятся с некой небрежностью. Священнику « генеральша » и чулки заштопает, а тем : штопай сам ! В церкви они свои люди. Ходят свободно. Тушат свечки. — Не то, что мы — грешные, неуклюжие, несмелые, даже верующие-то с сомнением...

Вы догадались, что такой « церковной генеральшей » была наша прекрасная Марья Петровна. И на этой почве у нашего менее — прекрасного Николая Николаевича происходили легкие столкновения.

По не вполне понятным причинам Марья Петровна в церковной области относилась к Николаю Николаевичу с требовательностью, почти строгостью и малоскрываемым осуждением. Конечно, как все, — выходило у нее из добрых побуждений. Она видела, что в церковных вопросах, Ник. Ник. не-невежда и хотелось его окончательно направить на путь истинный. А он невозмутимое лицо сделает и скользит, как чеховский налим. За жабры не ухватишь !

С другой стороны Ник. Ник. рассуждал так : если дать себя схватить « за жабры », то она с тебя для какого-нибудь пьяницы последние штаны снимет, а то обращается лишь в настоящих случаях и Ник. Ник.

отдавал подержанные, а новые оставлял для себя. А так : сто франков на теплые чулки о. Виктору давал и приготовился дать 500 фр. на юбилей о. Василия.

В Прощальное Воскресенье входила Мар. Петровна к Ник. Ник-чу с какой-нибудь старушкой (свидетельницей?) и с поклоном говорила : « Простите, если согрешила » и Ник. Ник. с явным добродушием отвечал « по уставу » : « Бог простит ». А она : « Просите тоже прощение ! Да кланяйтесь ниже ! »

— Простите ! Простите ! спешил Ник. Ник., кивал головой и улыбался...

Автору запомнился такой случай. — Пасха. Перед Заутреней. Церковь полна народу. Вот-вот начнется крестный ход. Уже зажгли свечи. Лица полны радостного ожидания. Отблеск свечей в глазах. Вдруг с клироса, через хор, появляется Марья Петровна на амвоне и манит кого-то пальцем. — На всю церковь ! Все ее знают, думают : не меня ли ! Шеи вытянули, глаза вытаращили. — Вот-вот вся церковь вперед тронется... — счастью одна показала на себя пальцем и Марья Петровна закивала головой. Та вышла и они пошептались...

Стали снимать хоругви. Выстроился хор. Вышли в светлых ризах священники...

Происшествие забылось. (Но не автором).

Представился раз Марье Петровне случай по началу прекрасный. Заявил ей вдруг Ник. Ник. : « Завтра день преподобного Сергия. Я очень люблю этого святого. У нас в Сергиевском была огромна церковь... И ярмарка. — Хочу пойти в церковь ! Разбудите пожалуйста ! »

— Ну, думает Марья Петровна, — пробудилось сердце ! (Вот они жабы-то !) Начала будить заранее. С явным неудовольствием смотрела, как Николай Николаевич пил кофе и, не дождавшись, ушла.

Как сказал раз о. Василий : « В церкви были только ангелы да Марья Петровна. С опозданием пришел Николай Николаевич. Постоял. Подумал о преп.

Сергии. И вдруг вспомнил : « Надо свечку поставить ! »

Марья Петровна за свечным ящиком. Подходит тихо наципочках и шепчет « Дайте пожалуйста свечку в 50 сант. ». И тут запели « Иже херувимы »... Отвечает ему с суровостью Марья Петровна : « В это время строго запрещено продавать свечи ! » и сама пустилась молиться.

Ник. Ник. сконфуженный отошел и повернулся к алтарю... « Иже херувимы » кончили петь. Он опять за свечкой. А Марья Петровна набожность изображает : руки сложила, голову наклонила и на него нуль вниманья.

Вспылил в душе Ник. Ник. — « Знаю эти штучки » — подумал. Отошел. Стоит. Будто о свечке и забыл. — Пришлось самой Мар. Петр. выходить из-за свечного ящика и его за рукав дергать...

Вернулись вместе. В передней говорит она Ник. Ник-у : « Я за вашего отца просфору вынула ».

— Спасибо ! а само вошел в свою комнату, повозился минуты три и выходит. — Где просфирка, спрашивает.

— А я ее съела !

— Как ! Всю съели и крошки не оставили ?

— И крошки съела... Вы мало внимания проявили. Небрежно отнеслись...

— Генеральша ! Надо честь отдавать... И даже « во-фронт » становиться.

*Вера без дел мертва есть* и деланье добрых дел стало своего рода профессией Марьи Петровны. Она тратила свои последние крохи, но и у других « добывала », что могла. Николаю Николаевичу часто этих других бывало жалко, так как обращалась Марья Петровна к людям и без всякого недостатка, с трудом добывающим свой хлеб насущный. И кому шла эта помощь ? — « Люби ближнего, как самого себя » и в эти « ближние » сейчас же записались « стрелки », нищие, пьяницы, сумасшедшие, ханжи, ловчилы и даже воры.

— Простому смертному-бедному, но нормальному человеку, места не хватало.

И любопытно было также, — почему она к своим добрым делам приобщала Николая Николаевича, — человека сдержанного, себя в грудь не-бьющего и желавшего, чтоб его оставили в покое? Правда-вежливого, хотя и избегавшего эпистолярного стиля. Уже 12 часов ночи. Ник. Ник. лежит в кровати и читает. К нему тихий стук в дверь.

— Я уже в постели, Марья Петровна!

— Ничего! Я на вас смотреть не буду! Входит.

— Примерейте, пожалуйста, эти шерстяные чулки. Годятся?

Николай Николаевич примеряет. — «Да, годятся. Немного великоваты, но ничего» А сам невольно думает: «Неужели попал в "ближние"!?»

— Вот хорошо! Так я их завтра в тюрьму отправлю!...

Надо заметить, что нога у Мар. Петр. была всего одним номером меньше, чем у Ник. Николаевича. Могла бы сама примерить. — *Почему все это?*

Для «церковной генеральши» естественно на первом месте: церковь. Только в церкви она себя чувствует в своем собственном миру и через церковь общается с грандиозным миром веры и верующих, с грандиозным миром мистики. — Пусть для других этот мир кажется фантастическим и нереальным. В конкретной же жизни эти люди-глубоко церковные — могут действовать очень «невыпадать».

Марья Петровна спешит в церковь настолько, что даже часто и кровать не уберет. Возвращается однажды с подружкой — эта с жизнью «выпадет». — Нюхает подружка воздух и говорит Николаю Николаевичу, — громко так, — «У вас что-то горит!»

— У меня ничего не горит, спокойно отвечает Николай.

— У вас пахнет гарью! еще уверенней говорит Подружка.

Николай Николаевич, привыкший верить людям, — пошел в кухню, там все закрыто, себя осмотрел, воздух нюхает, — да гарью пахнет!

Вдруг раздаются из комнаты Марьи Петровны ее ахи! — ушла в церковь, а зажженный утюг забыла. Утюг не только прожиг одеяло и клеенку, но впился в стол и потом сам перегорел. Надо чинить!

В начале знакомства Марьи Петровны и Николая Николаевича, — а это было до войны, — Иванов и не подозревал до какой степени « глубины » и крайности дошли эти « церковные », « институтские » и « московские » свойства Марьи Петровны и зная ее за человека хорошего, верующего он и попросил стать крестной матерью его сына Миши. И тут-то обнаружились ее особенности, помимо перечисленных выше, — особенности « церковной генеральши ». Религиозное воспитание крестника было самым, — увы, не будем жалеть слов, — примитивным. — « Боженька накажет! », « Отцу Виктору (священнику нашей церкви) скажу! » То есть : пожалуюсь. Также : повышенные требования к посещению церковных служб, — а православные службы долгие и сидеть нельзя. Повышенные требования к соблюдению постов, изучению молитв. Все это ребенка скорей оттолкнуло. Тем более, что сам отец « вяло » исполнял эти требования церкви. А сын очень любил отца...

В воспитании крестной матери не было никакой сублимации. Не было любящего Христа.

Зато дьявол был! И у Николая Николаевича, на эту тему, — даже с сыном — еще ребенком — произошел целый диспут.

Дело было вечером. Отец читал, а сын около играл. Скоро надо было его укладывать спать. Вдруг Миша подходит к отцу и спрашивает.

— Пап! А что у Боженьки много собачек?

— Почему ты так думаешь?

— Собачка умрет и идет к Боженьке.

— Возможно.



— А дьявол ?

— Что : дьявол ?

— Дьявол пустит ?

Тут Иванов может быть сделал педагогическую ошибку. Он мог бы напр. разделить собак на добрых и злых, но он вообще считал, что всегда надо говорить правду, даже ребенку, даже женщине, и он ответил.

— Я не уверен, что дьявол есть... Бог то есть. И зло есть, — в самом человеке.

Что произошло с Мишей ! Он крайне взволновался. Стал доказывать отцу с горящими глазенками, что дьявол существует, что он живет « там », показывая на пол, — это была знаменитая « преисподняя »...

**НЕ УБИЙ.** Заповедь очень остро и широко воспринималась Марьей Петровной. — Лишить жизни, данной Богом ! — Нельзя убивать даже блох, которые пьют вашу кровь. А как раз во время немецкой оккупации их развелось необыкновенное количество ! — Мало было мыла. Не было воска для натирания полов. В синема, в метро блох было необыкновенное количество и их приносили и домой. — Марья Петровна ловила блох на себе, вычесывала у кота, — все « это » собирала в боль с водой и... выплескивала на двор.

— Они там подсохнут и пойдут к нижним жильцам ! говорил Ник. Ник., а потом и к нам опять. — Она молчала и продолжала делать тоже самое. Она запретила ему убить огромную крысу, которая забралась к ней в комнату, и трогала ее спящую за волосы.

Пришел Захар Павлович, — милейший. Отнес по рассеянности шляпу в кухню и держась одной рукой за лысину и моргая бровями стал жаловаться, что у него обнаружили тараканы, — Марья Петровна выскочила из комнаты почти с криком : « Только не убивайте ! »

\*\*  
\*

Наконец эта ужасная война кончилась. В Париже союзники. Марья Петровна с Николаем Николаевичем

отправляются куда-то вместе. — Что бывало очень редко. Вдруг в метро Марья Петровна видит калмыка в советской форме прапорщика. Калмык маленький, скуластый, смуглый, — как ему и полагается быть.

Марья Петровна — высокая, крупная, массивная подходит к нему и спрашивает :

— Вы русский? Тот молчит.

— Вы русский? спрашивает она громче и строже.

— Да, отвечает неохотно калмык.

— Зачем вы насильовали немок в Берлине!? говорит она грозно и смотрит своими темными без блеска гневными глазами.

Калмык не знал куда деваться, а Николай Николаевич готов был провалиться. А Марья Петровна ждала ответа и ждала Божьего наказания.

### *Старушки*

Слову « старушки » автор не предает никакого умаляющего, уничижительного значения. Все мы будем стариками или старушками, а может быть уже есть.

История началась давно : Марья Петровна еще не жила у Николая Николаевича и они ходили друг к другу в гости. Она угощала Николая Николаевича и его жену макро (рыба) в томате, — верх ее кулинарного искусства (мяса она избегала), а мы ее пережаренным мерлян (рыба).

Разговоры вели на изысканные темы. Николай Николаевич блистал, был сильно уважаем и не ожидал в будущем никаких коллизий. Ее белый кот Зайка, когда Ник. Николаевич его гладил, чтобы поздороваться, тряс ему хвостом, а потом принимался бегать по комнате.

— Доволен !, говорила Марья Петровна.

Но первая старушка уже появилась в лице Евге-

нии Ивановны. — Это была старушка — перец. Каянский. Она появлялась, как из под земли : тихо, неожиданно, в полутемной передней. Словно караулила. Появлялась и вступала с Ник. Николаевичем в разговор. Ее толстые стекла очков блестели. Глаза метали молнии. Разлохмаченные вокруг волосы потрескивали и излучали какое-то зеленое пламя. Она ненавидела всех и все. Ненавидела мужчин «расовой» ненавистью, хотя и обращалась к Ник. Ник. — явному мужчине (он тогда носил бороду). Но видимо с женщинами... менее интересно. Ненавидела она, в частности, француженков. Ставила им в вину, помимо « всего прочего », что у них... тонкие ноги. (У самой были толстые). Ник. Ник., любящий правду, слегка протестовал словами : « Разве-разве ». Но старушка — перец не унималась. И, чтобы окончательно убит: Ник. Ник-ча, — взорвала атомную бомбу. Сначала она сделала вводное замечание : « Мы же не девочки и я могу сказать »...

— Да, да, — мы не девочки, бормотал Ник. Ник., — и мне можно.

— И потом, победоносно заявляла она, — у них (у француженков) зад висит !

(Ник. Ник. только ахнул от удивления и стал по-памяти представлять « картины »),

— Не то что у русских, продолжала старушка без гордости и повернулась слегка боком.

Ввиду такой демонстрации он признал, что русские « попки » лучше, а сам думал : как бы улизнуть.

Когда состоялось соглашение о переселении к ним Марьи Петровны, то Ник. Ник. поставил условие, чтобы была только одна кошка и чтобы никто с Мар. Петровны другой не жил. Она уже собиралась взять старушку-перца. Во всем остальном : Марья Петровна занимает одну комнату (независимую) из трех, пользуется ванной, газом и электричеством и платит треть за квартиру и за все.

Но что значит : « Одна кошка » ? а временная вторая ? И что значит, чтобы никто другой не жил ? Что

значит : « жить ». « Может быть » московское (вольное) и петербургское (формальное) толкование.

И началось. — По понедельникам приезжала монашка, брала ванночку, стирала бельишко, ночевала, на утро гладила и исчезала. Все проделывала шитокрыто, как мышка. По субботам привозилась слепенькая старушка. Марья Петровна вела ее от метро словно какого-нибудь архиерея в митре : торжественно и под звон колоколов ! Старушка проводила половину субботы и воскресенье.

По большим праздникам устраивался « бал ». Так и говорила Марья Петровна : « У меня сегодня бал старушек ». А больших праздников : двенадцать двунадесятых, Покров, два Николы-Угодника, да и Димитрий Солунский — не малый. Уж не говорю про именины и рождение. Это законное.

Духовка пылала, газ горел, электричество всюду, вода лилась...

Старушки появлялись после церкви оживленные. Если Николаю Николаевичу случалось подвернуться и помочь снять пальто, то дарила его старушка взглядом, как рубликом, как в молодости, а рублику за семьдесят !

Старушки рассаживались в комнате и начинали степенный разговор. — Каждая имела свое суждение. Они забывали на время, что французская торговка их в грош не ставит ! Снова они жили где-то там и когда-то там. — « У нас в имении... » « Когда муж командовал полком »... « У нас на курсах »... « Институт окончила с шифром »... А мужей у старушек ни одного !.. Заели ! — Ах !, извините за такую глупую шутку автора ! Нет ! Мужья прошли через их жизнь, позвякивая шпорами или без шпор и скрылись в вечность...

Марья Петровна в пылу гостеприимства носилась из комнаты в кухню... Появилось знаменитое макро в томатном соусе. « Кушайте, пожалуйста ! » — Те « кушают ». Макро съедено дочи́ста ! Картина : смотрят с

блюда страшные окровавленные томатным соусом рыбы головы. Глаза их полны испуга и удивления. На тарелка: ребра, как кости верблюдов, погибших от жажды в Сахаре. Кругом, поджав губы, застыли старушки. А с буфета напряженно следит кошка: осталось ли ей что-нибудь?

И снова заматалась Марья Петровна. Кудри ея, сделанные бумажными завитушками, развинтились. Убирает тарелки. (Кошка пошла посмотреть в кухню). Готовит чай. Выставляет пирог, варенье. Варенье блестит глазированным блеском. — Не откулупнешь!.. — «Кушайте, пожалуйста»...

— Что это у вас за варенье? спрашивает не без легкого ехидства старушка.

— Яблочное. Переварила.

— А вы шкурку не снимаете?

— Нет.

А старушкам от этого не легче. Глотай шкурку целиком или выплевывай!

— А пирог у вас хорош! заявляет другая. Но все трети молчат. Пирог явно среднего качества и «у них в имении» едали лучше... Не до того Марье Петровне! Она о спасении души думает! Или по добрым делам бегают! Да и уроки. Да и деньги где взять?..

Вернемся к Николаю Николаевичу. Положение его было деликатным. Их разговоры были слышны. — Сие конечно не без интереса. Напр.: Такой-то женился на англичанке. Он представительный. Ему шестьдесят, а ей тридцать пять. Она говорит только по-английски, а он по-английски ни слова. Спрашивается: как же они на другой день разговаривать будут? «Почему: на другой день?», думал Н.Н.

Бал продолжался часа четыре. Чай пили два раза. Дверь комнаты открыта: иначе задохнуться! да и Мар. Петр. надо в кухню бегать. Все «службы» квартиры блокированы! Расхрабится Н.Н. прикроет им дверь да в «известное место», а старушки замолкают...

Старушечьими балами перепитии Ник. Ник-ча не

ограничивались. Одно время вздумала вдруг Марья Петровна раз в месяц стирать... церковное белье! — Своего ей мало! — Для спасения души, — видимо. Стояла на газе огромная бадья, посапывала, пыхла, портила воздух и тратила газ. Вздыхал и Ник. Ник., а потом ходил между развешенных хламид и вышитых крестиком длинных полотенец.

Из всех старушек самая упорная, самая регулярная была слепенькая. Лицо ее, как бывает у слепых или у почти-слепых (ее случай) представляло из себя мало-выразительную, замкнутую маску. Но это не значило, что внутри у нее не было жизни, мысли, желаний, обиды. Маленький сын Ник. Ник-ча прозвал ее Ми-Ми. Марья Петровна держала ее в строгости. Ей командывала и за нее решала. А Ник. Ник-чу часто бывало старушку жалко, тем более что к Ник. Ник-чу она относилась с подчеркнутым уважением, и всегда с ним очень приветливо здоровалась своим ясным отчетливым голосом (была когда-то актрисой). И слышно было через дверь: «А хороший человек Николай Николаевич!, на что Марья Петровна отвечала сомнительным: «Да». Или: «А хороший муж Ник. Ник-ч. Другой бы себе девочку завел»...

Марья Петровна соблюдала с ней все посты, а может быть по старости той яичко всмятку хочется. Волокла (извините) ее в церковь и ко всеночной и к обедни, да к началу. — «А то опаздаем!» А может быть той полежать надо, да пойти к «Отче Наш».

Что ж выходило? Пост самый обыкновенный, не «Великий», а скажем «Филипповки». Разбудит Марья Петровна Ми-Ми, заранее а сама куда-нибудь отлучится... А та трухи-трухи в лавочку (как только со-слепу находила), сметанки купит да и сидит с хлебом вкушает... Накрыла ее раз Марья Петровна и грозит: «Бог накажет!» Не выдержала старушка, да ей в ответ своим ясным голосом: «А кто это вам, Марья Петровна, дал право Богом распоряжаться?» —

Так и отрезала к радости Ник. Ник-ча, да и за Бога заступилась !

И тоже вопрос с куревом. — Разрешала ей Марья Петровна только одну папиросу после обеда, — « а то комнату прокурите, да и вредно для здоровья, да и деньги только тратить !.. » А той хочется. Одно осталось удовольствие, — покурить !

Вот и получалось. — Засядет старушка в уборной и покуривает медленно. Наслаждается. А для вида, сидя там, время от времени, — воду спускает... Может, и две папиросы подряд курила. Потом выходит, вся в дыму, как в облаках ! Ник. Ник. ее не выдавал.

Раз должен был Ник. Ник-ч уехать на две недели. Марья Петровна сказала, что приведет к себе « для храбрости (?) Ми-Ми, а то ей одной страшно. Н.Н. промолчал и уехал.

Вернулся он неожиданно и рано утром. Открывает ключем дверь, а она не открывается, хотя и ключ его и дверь его. Он нажал плечем ! И вдруг посыпались ему на голову : ножницы, какие-то гвоздии и опилки. В то же время раскрывается с треском дверь из комнаты Марьи Петровны и появляется она сама. Вышла совсем полуодетая, большая, вся в бумажных завитушках, — рогатая рот широко открыт, — приготовилась кричать : « На помою ! Воры ! », а, увидав Ник. Ник-а рот так и остался открытым, — от удивления ! Получилась, на момент, замечательная картина ! На голове у Ник. Ник-ча лежат ножницы, на ресницах опилки, а на него, открыв рот широко, смотрит с удивлением совсем полу-одетая Марья Петровна с бумажными завитушками на голове... О ! Художник ! Где ты ?

Живая картина пришла в движение. Марья Петровна закрыла рот и пробормотала : « Это я от воров : ввинтила в дверь кольца и вставила ножницы. В глазах ее тем не менее что-то бегало « сумятное », недоговоренное.

Ножницы с головы Ник. Ник-ча упали. Опилки

с век он стряхнул, сказал сухо: «Доброе утро!» и входит в свою комнату.

И что же он видит! На его кровати, в его комнате... лежит слепенькая старушка!

— Я ее сейчас уберу!, послышался голос из под-земелья... И в голосе, — никакого стеснения! — Доброе дело (за чужой счет?). Вот они — москвичи-то! Никаких церемоний! О «праве» не заботятся... Не то что мы-петербуржцы.

Николай Николаевич ничего не сказал, — думал, что и «так понятно», и ушел дожидаться в дальнюю комнату. — А было ли понятно-то?

Вечером того же дня лежал Николай Николаевич кровати и читал. Тихо. Уютно светит лампа. К нему, как всегда, вылез из под кровати паук и походил по книге. — Это было странное явление. Ник. Ник. его не трогал. Привлекало ли паука тепло лампы? Не может же быть, чтобы паук... чувствовал дружбу к Ник. Ник-у!

Тикают часы... Вдруг открывается дверь и в белой длинной ночной рубашке, протянув вперед руки, шла к нему в кровать слепенькая старушка!!!

Он подпустил ее на шаг и кашлянул басом. Она с легкостью необыкновенной, ни пикнув, повернулась и вышла.

Забыла бедная старушка, что Ник. Ник. вернулся...

\*\*

Не хотите ли, господа, в жилицы Марью Петровну? Человек прекраснейший! Бесспорно! Я бы вам уступил!



Автор желал бы, чтобы эта история носила веселый характер. Но ведь автор далеко не всегда сам себе господин. Есть персонажи, которые живут как *они* хотят. « Кошачий вопрос » и « женский » связаны таинственными нитями, переходят « норму » и часто не следует логике. У меня есть знакомая : Ольга Ивановна, умная женщина, с высшим образованием, работает по специальности, а в полночь и позднее выходит кормить кошек не только около своего места жительства, но и в ближайший пригород. Один раз ночью, зимой, кошка ей зов подала. Ольга Ивановна встала, оделась и пошла на этот зов и нашла раненую кошку... Кошки с ней « разговаривают » не только голосом, но и знаками...

Прекрасная Марья Петровна была « кошатницей ». По соглашению, когда Марья Петровна переселялась в квартиру к Николаю Николаевичу Иванову, она могла иметь только одну кошку. Сначала все шло хорошо : у нее был белый кот Зайка с характером твердым и ревнивым. Он не только не допускал никакой другой кошки, но даже когда к Марье Петровне приезжала погостить на недельку (что тоже незаконно) — подруга, то Зайка переселялся к Иванову, а к ней ходил только есть и делать свои дела.

Однажды Николай Николаевич являлся свидетелем довольно — по существу — комической сцены. Поехали они вместе в гости в лагерь. Лето было сухое и развелось необыкновенное количество мышей. Пили чай. Зайка был на свободе. Только зайдет он за куст как выходит оттуда и во рту мышь. — Принес показать. — « Отдай ! » закричала на него Марья Петровна. Вытащила мышь и отпустила на волю. Так повторилось дважды. На третий раз кот появился с окровавленной мордой и облизывался. За что получил. — « Сожрал таки ! Проклятое животное ! »... Кот пред-

почел некоторое время не показывается, — сами пьют чай, а мне... »

Зайка умер. Завелась кошка — Минушка, трехцветная. В известный период она начинала кричать истощенным голосом. Удержать ее от котов было чрезвычайно трудно, да и коты лезли, ломились и готовы были разбить стекло...

Минушка котилась. Родившихся котят Марья Петровна, перекрестив, умерщвляла ваткой с эфиром, и потом топила. Одного « для здоровья кошки » оставляла.

Котенок подрастал. — Надо его пристроить. Не так-то легко. И сколько таких котят! Наконец кошку оперировали и она успокоилась. Но маленькие истории с ней продолжались. Кошка бывала всегда голодна. И каково ей было слышать от хозяйки : « Ты дома и можешь поголодать, а я лучше отнесу бродячим бездомным » и на глазах уносила. Ее же держала по — преимуществу на постной пище, — « так для здоровья лучше » или же сдабривала овсянку взятой у Иванова куриной косточкой. Иногда « ради праздника » покупалось 50 грамм рубленого мяса. И вот вам сцена. — Крики : « Уходи отсюда, подлое животное !!! Воровка ! Кто съел мясо ! (Кошка молчит). Я тебе на два дня купила, а ты в один присест съела ! Я тебя спрашиваю : кто съел мясо ? »..

Кошка, — подальше от греха, — перебирается к Иванову на подоконник.

— Николай Николаевич ! Прогоните ко мне кошку ! Я ее хочу побить !

— Нет уж, Марья Петровна, я не хочу кошке свинью подкладывать. Вы уж сами.

Марья Петровна вооружается половой щеткой и выковыривает кошку. Слышно : « На ! На тебе ! » А потом минутная тишина и появляется голова Марьи Петровны.

— Я ей надавала по мордасям ! И она сидит под кроватью.

— Не верю ! Хвастаетесь.

Опять тишина. И оклик : « Минуш !.. Хочешь кушать ?

Эти слова кошка прекрасно знает и она всегда « хочет кушать », — Отвечает : « Мяу » — « Иди, дай ! »

Или вот вам другой случай. Не удивляйтесь только репликам Николая Николаевича. Зная Марью Петровну, он просто иногда разыгрывал комедию.

Сильный стук к нему в дверь.

— Да.

Входит Марья Петровна, взволнованная. — Николай Николаевич ! Минушку изнасиловали ! »

— То-есть как ? Кто ? крайне удивляется он.

— Коты !

— Ну что вы, Марья Петровна ! Минушка — старая кошка, раз тридцать котилась, потом ее оперировали !.. Кому она нужна !

— То-есть как : кому нужна ? Очень нужна ! И... она кричала !

— Когда ?

— Вчера.

— Это она от радости ! (Явная шутка).

Марья Петровна строго на него посмотрела... « И потом у нее кровь ! Сегодня обнаружила у себе на кровати ».

— У нее падают зубы. Она один проглотила и он ее поранил...

\*\*  
\*

Но одной кошкой Марья Петровна не хотела ограничиться. Зайка был на особом положении. Он бы не вытерпел другой кошки. — Постоянно бы с ней дрался. Без перерыва. Видимо была уже проба. Кроме того Зайка был еще при муже. И особо-уважаем... У Ольги Ивановны, про которую я упоминал вначале, было, и есть восемь кошек.

Сначала « совсем временно » был принесен очень крупный кот светло-серой серебристой довольно пушистой шерсти с легкими тигристыми разводами, большой головой и белесым живостом. Миша-мальчик, сын Иванова, увидав его, воскликнул : « Ну и дядя ? » Так и стали его звать Дядей. И Дядя.... полюбил Николая Николаевича ! Но как ! Иванов никогда не думал, что кошка может так любить ! Кот знал его шаги и встречал у дверей. Утром заслышит, что Иванов проснулся, начинал проситься к нему. Марья Петровна спрашивала : « Можно пустить к вам влюбленного ? »

Кот заглядывал через стекло в угол занавески и потом бросался к кровати, чтоб поласкаться. Когда Иванов сидел за письменным столом, то Дядя лежал на столе и на его морде было написано *блаженство*. Время от времени он вставал и шел ласкаться, а потом опять ложился. Иногда, правда, соскакивал, шел к двери, оборачивался и с необыкновенной выразительностью молча смотрел. Выразительность эта означала : « Не пойти ли *нам* в кухню и закусить, чем Бог послал ? » Иванов вставал и они шли. Закусив, возвращались. Когда Дядя гулял на пустыре, то стоило Иванову его позвать : « Дядя ! », то он бежал, как собака. Французы его знали и звали : « Дьядья ! »

Конечно, у Дяди была своя мораль, вроде как у толстовского Ерошки (« Казаки ») : « На хорошую девку поглядеть грех ? Погулять с ней грех ? Али любить ее грех ? (...) это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал »... У Дядя это касалось, конечно, не девок, а еды, которая « плохо лежала ». А Иванова он даже считал как бы за сообщника или друга.

Такая любовь кота победила Иванова и Дядя остался жить до самой смерти. — « Любовь — великая сила ! Даже скорей милую забудешь, которая больше думает о своем удовольствии, — чем такого кота ? » думал Иванов. И не забывал. И не забудет всю жизнь.

На этом примере мы видим, что Николай Николаевич, — наш « вторичный герой », тоже не лишен был

сердца, но у него это шло по линии личной, индивидуальной. — Он не любил всех кошек, всех людей, даже жуликов и пьяниц...

Когда, таким неожиданным способом (для Марии Петровны) у нее появился второй кот — Дядя, — ей захотелось иметь третьего...

Вот тут-то и разыгрался бой. И вы увидите, что наша добрейшая Марья Петровна по отношению к праву и порядку, по отношению к вежливости и по отношению к нашему Николаю Николаевичу вела себя, скажем, — «сомнительно». И даже больше того, автор думает, что каждая женщина имеет «обратную сторону медали», которая может и обернуться...

Входит раз Иванов в кухню и слышит злобное рычание. — Откуда бы? Заглянул под буфет, а там сидит грязный коростовый кот, — уши от коросты почти отвалились, — смотрит на него злобно, рычит, шипит и готов броситься! — Это был третий «негласный» кот...

Иванов сделал Марьи Петровне замечание. А та : «Это он случайно выскочил. Я его лечу»...

— Чем же?

— Лампадным маслом на уши капаю.

— Помагает?

— От *икон*! строго ответила Марья Петровна.

— Так вот, потрудитесь этого кота убрать. По условию у вас может быть только один кот. — Теперь третий.

— Я в своей комнате что хочу, то делаю.

— Вы еще козу заведете... От ваших котов воняет!

— А вы не нюхайте! (Каково!) Вы какой-то неврастеник!

— Если вы не уберете кота, — я его сам выброшу!

На другой день она на своей комнате *повесила замок*. А вони стало не меньше... Николай Николаевич надулся, но ей на это было явно наплевать. — Такое почти-грубое поведение Марьи Петровны объяснялось

тем, что она защищала бедное голодное больное животное от сытого человека.

Кризис разрешился самым неожиданным образом. Миша-сын Иванова, к этому времени уже подросток, — счел, что замок-оскорбление. — Взял и сорвал замок.

— Николай Николаевич! Кто это сорвал замок? (Глаза почти — злые).

— Миша. Он считает, что вы живете на квартире у друзей и неприлично запирают комнату на замок... Думаю, сорвет и другой раз.

Она пожевала губами. Лицо бледное. «Каменное». Недоброе. Молчит. Соображает. — Повернулась и ушла.

Кот был убран, но следы от него остались. — Оказывается что, когда Марья Петровна капала коту на уши лампадное масло от иконы, то злющего кота держал Миша и он заразился от него коростой («галь»), а от Миши короста перешла к отцу. Как раз на сгибе локтя. — Насилу вылечил. — Так «Бог наказал» и Мишу и Иванова за их жестокосердие...

### *« Страшный Суд »*

До сих пор я писал про Марью Петровну лишь то, что видел и наблюдал. — Все это сплошная правда. В этом интерес рассказа. Оригинальные люди, оригинальные ситуации. До меня напр. так писали иногда: Тургенев (в «Записках охотника») Лесков (его «праведники») и Чехов (напр. «Душечка»). Теперашний же рассказ: сплошная фантазия. Лишь люди живые, а их характеристика субъективна.

## Действующие лица

*Наталья Николаевна.* В церковь не ходит. Заповедей и молитов не знает. Грехи есть. Но душа ее добра и благородна. Душа ее проста и блаженна и ясна. Когда она делает добро, то даже не знает, что это есть добро. Мария Петровна прозвала ее : Царевнушкой.

*Ольга Ивановна.* Покровительница кошек и собак. Главным образом кошек. Сама не досыпает, а ходит по ночам и их кормит. Дома их девять, а собака одна. С кошками она телепатически разговаривает. Однажды кошка (чужая) ей ночью зов подала. Она встала и нашла кошку (зимой) за версту от дома в луже...

*Евгения Патрикевна.* Считат, что Бог добр и все простит. (Грехи есть). Точка зрения спорная. У Достоевского Мармеладов (« Прест. и Наказ ») в пьяном видении Второго Пришествия говорит, что Судья, к неудовольствию праведников, простил « пьяненьких, слабеньких и соромников », потому что, « ни единый из них не считал себя достойным »... (Чистилища Православная церковь не знает). В « добре » и « зле » плохо разбирается.

*« Церковный полковник ».* Ни одной службы в церкви не пропустит. Имеет стихарь. Человек хороший, но большой педант. Все свои добрые дела записывает с десятилетнего возраста в книжку. Нищим регулярно подает, хотя знает, что эти денежки будут пропиты...

*Захар Павлович.* Человек редкой доброты. Дамский угодник. (Холост). Храбр и робок одновременно. Нерешителен. — Это он прибежал спросить : « Как быть », когда у него завелись тараканы, а Марья Петровна выскочила из своей комнаты и закричала : « Только не убивайте ! » Общителен. Даст займы. Крайне рассеян.

*Марья Петровна,* нам известная.

*Николай Николаевич,* нам известный.

*Вопрос смерти* для религиозного человека — во-

прос самый главный. Верующий к смерти готовится, чтоб, пройдя смерть, вступить в жизнь вечную. Но какую? И тут берет его страх, потому что от СУДА, который решает этот вопрос, — ничего не утаишь. И человек боится и называет этот суд *Страшным*.... «Покайся (...) ...Се грядущи скоро»... «Я есть Алфа и Омега, начало и конец» (1-8) ...«И вот (появляется) конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть и ад следует за ним...» (4-8)...

...«Престол стоял на небе и на престоле был СИДЯЩИЙ»... (4-2)

...«Души убиенных за слово Божие вопили грозным голосом: доколе не судишь и не мстишь!.. (4-9,10). (Все цитаты взяты из «Откровения св. Иоанна»).

Настал **СТРАШНЫЙ СУД**. У ворот рая. апостол Петр. Люди, возстав из мертвых, еще думали и чувствовали себя как в земной жизни...

Первой попала в рай *блаженная Наталия*. Идет она со своим наивным видом. Перед ней: прекрасный сад. Ворота открыты. Сторож — милый старичек дремлет. Яблони в — цвету и на них же зрелые яблоки. Два яблока упали. Одно: красное и прекрасное, другое похуже, позеленей. Одно — получше, подумала она сыну — Мишеньке бородатому, другое — позеленей — мужу. О себе она не думала. А собирать падалицу в чужем саду за воровство не считала.

Вошла. В ушах зазвенело тихо и мелодично. Пылашлась *НЕБЕСНАЯ* музыка. И словно: песня жаворонка над золотой рожью! Перед глазами открылся светлый радостный райский путь, по которому она и пошла: плавно, с улыбкой...

Дальше идет по небесной земле толстенькая *Ольга Ивановна*. С ней тысячи кошек и сотни собак, которых она пестовала. Вступила в спор с ап. Петром, — требовала, чтобы и их всех в рай пустили.

— Нельзя, барышня! сказал апостол. — Вы — пожалуйста, а о них не беспокойтесь!... Вошла. Присела у огромного дуба. А там уже сидел *Захар Павлович*.



— Заблудился. — Через загородку перелез и... в рай попал. Глаза его полны робости... Сидят они рядом и друг друга не узнают. Вдруг проходит мимо тигр и в виде приветствия поднял хвост. У Захара Павловича страха еще больше, а Ольга Ивановна, как воскликнет : « Кошка ! Голодная ! »... Тут то и напало на них обоих райское состояние.

Ведут нашу *Церковную Генеральшу* — *Марью Петровну*. Ведут опекаемые ею. Окружена она : старушками, сумасшедшими, пьяницами, ворами, кошками, блохами, — свидетелями ее добрых дел. И все кричат : Веди прямо в рай !!! Без суда ее !!! Достояна ! Добродетельница ! Генеральша ! Пускай прямо !...

Не тут то было. Остановили. Судить стали. —

« А кто Богом детей пугал ? А кто советы давал (любительница была) и мужа с женой ссорил ?... Не любовалась ли ты собой, дела добрые делаешь ? Других не осуждала ли ? »...

Но в рай, конечно, пустили. Добрых дел — с лихвой !

*Церковный полковник* представил удостоверение от о. Виктора в своей церковной непорочности. Потом он вынул множество маленьких книжечек, где были записаны его добрые дела с десятилетнего возраста. Ни одной книжки с плохими делами не было...

*Николай Николаевич* направился прямо в ад ! Нет, думает, у меня настоящих добрых дел. — « Чистых ». — Все со всячинкой. Всюду : не та категория. Представьте : остановили. Судить стали. Даже в ад без суда нельзя !

Грешники шли толпами. Среди них : маленькая *Евгения Патриковна*. Она пела со всеми, но громче и сильно фальшивя, — псалмы. И хотя вера в доброту Бога у нее не упала, но страх за грехи обуял...

Бог, — всегда добрый, — и к ней был добр.

## Д-р ГЕРТРУДА ФИШЕР

(Малая повесть)

### *Действующие лица*

Главное действующее лицо : *Гертруда Фишер*, — женщина — врач. Крупная полная женщина лет 42-х. Ноги толстые. Одинока. Немка.

Второе по значению действующее лицо : *Погорелов* — учитель русского языка. Может нравится. Возраст неопределенен. Наивен.

Совершенно второстепенные действующие лица : *О. Грегуар* — иезуит. Американский полковник — будто бы кузен Гертруды. Деревенский кюре. Дед — фермер. Его невестка. М-ль Тель — директриса лагеря. Бернадетт — девочка-уборщица. Суслик. Три вороны. Мул. Коровы. Коза. Окаменелый дракон.

Первое действие происходит в Париже. Второе — в Савойских горах и комфортабельной вилле Гертруды.

### *Гертруда*

Телефонный звонок. — Алло. Слушаю.

Господин Погорелов ? Вы даете уроки русского языка ?

— Да. С кем имею честь...

— Доктор Гертруда Фишер, — сказал голос с апломбом. Мне посоветовал обратиться к вам профессор такой-то... Могли бы вы давать мне уроки русского языка?

— Да. Вы можете приезжать ко мне?

— Никак не могу. Я очень занята. Принимаю больных. Пишу книгу. Наступила пауза со стороны Погорелова. Видимо он предпочитал давать урок на дому.

— Вы начинающая?

— Да. Я немножко пробовала без учителя...

— Какую цель вы себе ставите?

— Читать в подлиннике Павлова.

— Это хорошо. А сколько хотите брать уроков в неделю?

— Один раз в неделю, два часа подряд.

— Это для русского языка мало один раз в неделю, а два часа для начинающей сразу — много. Полтора.

— Чаще никак не могу. Я очень способная. А какие ваши условия?

Погорелов назвал нормальную плату. Последовало многозначительное молчанье. Чувствовалось сильное желание, чтоб уступили, а торговаться было неловко. Погорелов улыбнулся в телефон «ну, хорошо! — и уступил, закруглив сумму. Довольный голос дал адрес, сказав, что это новый дом без консьержки.

Погорелов нажал кнопку около фамилии ученицы. Послышался низкий неприветливый голос: «Кто там?» — Он назвал себя. — «Закройте за собой дверь и поднимитесь по лифту на пятый этаж. Я вас буду ждать» и дверь с легким треском открылась.

Его встретила высокая полная женщина лет сорока со светло-голубыми глазами на выкате. Лицо было массивно и грубовато. Теперь оно улыбалось и в то же время внимательно его рассматривало (словно я лошадь,

подумал он). Было видно по ее глазам, что она осталась довольна.

Когда прошел примерно час урока, послышался звонок. — Это пэр Грегуар — мой духовник. Я вас с ним познакомлю. Иезуит. Очень умен. Без него я бы погибла. Я его во всем слушаю. Очевидно он был приглашен, чтобы посмотреть Погорелова и сказать свое впечатление.

Вошел аббат с умным худощавым лицом и внимательными глазами. С первых же фраз Погорелова у него вырвалось одобрителное: «А!» Спросил: давно ли во Франции, не забыл ли русский язык, изменился ли язык в Советской России, и следит ли он за этим... Все это в разговоре светском и «между прочим»... Было явно, что урок больше продолжаться не может и Погорелов стал откланиваться. Хозяйка спросила: сколько она должна. Он ответил витиеватой фразой, что де в присутствии представителя духовного начала он не хочет говорить о деньгах. Он действительно стеснялся, но его и смущало то, что урок продолжался только час, вместо условленных полутора и вина в этом не его...

Ученица оказалась немкой, доктором и принимала больных и лечила их методом психоанализа. Все это больше ненормальные на сексуальной почве. Одни раздеваются догола, другие пытаются раздать ее.

Между прочим — она сказала, что одинока и действительно это женское одиночество чувствовалось даже в квартире — в ее ауре, — как некая довлеющая тягота. Во всем также виден и расчет. От мебели до планов жизни. И часто детальный, наивный, мелочный. Так она рассказывала, что поймала секретаршу, которой платит «безумные деньги», как та говорила по ее телефону, вместо того, чтобы работать, то про уборщицу, которая пила ее ликеры, — и она ловко это обнаружила, отмечая уровень на бутылках. Неудачи вызывали у нее взрыв негодования: она краснела, рычала басом, тарасила глаза, показывая что-то грубое

и примитивное, несмотря на свой явный ум и образованность.

Погорелов строго держался линии учителя. Он отказывался от ликера или коньяка, от предложения остаться поужинать или пойти в кино. Ставил свое кресло в легком отдалении.

Однажды, объясняя урок, он тронул случайно пальцем ее колено! Что произошло! Она вдруг превратилась в статую. Глаза ее выкатились и застыли, дыхание ускорилося. Лицо порозовело, потом стало бледным. Все это от слегка тронутой коленки. От одного прикосновенья!

На следующем уроке она лежала на кровати, сказавшись «немного больной», хотя и «хорошо себя чувствующей» и предложила подсесть поближе.

— Лежите, лежите, я буду говорить громче! — сказал Погорелов. Он удвоил осторожность, не давая ни малейшего повода к интимности, а то, думал он, эта сорокалетняя тетя в восемьдесят кило, с округлыми формами Рубенса, которая сама говорила, что темперамент у нее: «о-ла-ла!» чего доброго может броситься на него с объятиями.

После неудачи, немка пустилась жаловаться на свою судьбу одинокой женщины.

— Я была на конгрессе и видела там большого роста полную русскую женщину. Наверно у нее есть муж!?

— Возможно.

— А у меня нет! Один американец сделал мне предложение, но надо ехать в Америку — а наука! Он не хочет чтоб я ею занималась. И он атеист!

Религия занимала у нее очень крупное место. Она исполняла предписания католической церкви с какой-то подчеркнутой тщательностью, как это бывает у нефитов.

В первое время занятий по русскому языку она сделала очень большие успехи, но после попытки соединить полезное с приятным, пафос ее упал и она

перестала готовить уроки. Тем не менее заниматься продолжала, « чтобы не пропало даром » уже приобретенное. Это « не пропало даром » было какой-то характерной чертой ее немецкой души. Но русский язык стал топтаться на месте.

Вдруг ей представилась возможность поехать в августе на научный конгресс в Советскую Россию. В ее голове созрел план-расчет, что она, благодаря русским, выйдет, как ученый, на большую интернациональную дорогу, а то, по ее мнению, немцы и французы ее затирали. Она купила диски и стала снова готовить уроки. — Кроме того, — сказала она — глядя на Погорелова, — мне необходимо, чтобы кто-нибудь поехал со мной летом на дачу и занимался со мной и там. Я оплачиваю дорогу, комнату со всеми удобствами и стол за час-полтора занятий. Кроме праздников. Моя вилла-« дача », как она ее называла, находится в Са-войе у итальянской границы на высоте 1500 метров. Место красивейшее.

Погорелов стал колебаться. Его это соблазняло. Он сказал: — Я знаю, что вы очень вспыльчивы... Если я поеду, — я могу сразу же уехать...

— О, не беспокойтесь, не беспокойтесь, — и она добавила несколько загадочную фразу — я буду очень женственна.

Он продолжал раздумывать — остаться наедине! Поймав на себе его взгляд, она добавила:

— Ваша комната будет в нижнем этаже и у вас будет ключ, а моя на третьем. Там живет также мой кузен с семьей — американский полковник.

Погорелов согласился и она, довольная, улыбнулась.

\*\*

Гертруда встретила у самого вагона. Вилла находилась в двадцати пяти верстах и за пятью туннелями. Ехать надо было поднимаясь все вверх вдоль обрывов

и ущелий с крутыми поворотами. Давала себя чувствовать барабанная перепонка. Вез с осторожностью «американский кузен». Говорил он только по-американски. Был большого роста и слегка покашливал. Казался чем-то озабоченным. Заинтересовался картой района, которая была у Погорелова. Посочувствовал, что тот почти не спал в поезде.

По приезде Гертруда сразу уложила Погорелова спать, «чтобы ослабить шок от перемены высоты», но на третьем этаже, где жила она сама, а не на первом, как было обещано. Она сказала, что все объяснит «потом», а что «пока» весь первый этаж занимает кузен-полковник с семьей.

Погорелов быстро и крепко заснул. Когда он проснулся, то выяснилась совершенно неожиданная вещь: полковник с семьей... уехали. — Моя кухня оставила вам эту коробку шоколада, — сказала Гертруда и (замявшись) пепельницу, но пепельницу я взяла себе, так как вы не курите (она сама не курила).

Гертруда отъездом кузена была расстроена. — Оказывается произошел конфликт из-за собаки, английского сетера, который был у американцев и которого они очень любили и позволяли ему лежать на кровати. — Это во-первых. Во-вторых, собака... обдирала стены своими когтями, эти «ободранные стены» были специально показаны Погорелову. Он ничего не заметил, но промолчал. Во-третьих, она заставляла американского полковника каждый раз, когда собака возвращалась в дом, обтирать ей лапы... В-четвертых, Гертруда хотела, чтобы девочка, дочь полковника... и т. д. и т. д. — а девочка не хотела. — Произошел конфликт. Какой-то расчет не оправдался. Американцы уехали и Погорелов остался с Гертрудой один на один... Он попросил переселить его в нижний этаж.

Вечером, но еще засветло, Гертруда предложила пойти погулять, — она хотела показать старинную церковь. Надела шляпу-клош. Пошли степенно.

Показала сначала кладбище на каменистой почве:

«Здесь я буду лежать. Здесь так тихо! Здесь есть место... и дешево стоит». Церковь старая, деревенская. Рассмотреть ее Погорелову не удалось, так как Гертруда пустилась молиться по всем правилам и со всем видимым усердием и он не хотел ей мешать.

— Теперь я вас познакомлю с кюре. — Это было для Погорелова совершенно неожиданно.

Звон колокольчика, как у савойских коров. Вышла худощавая дама, — М-ль Тель, — директрисса лагеря девочек.

— Г-н кюре кушает. Может-быть можно подождать с четверть часа?

— Можно.

Повела темным коридором. «Здесь порожек! Нагните голову, пожалуйста, осторожней, осторожней!»

Кюре был в брюках и фуфайке. Лет ему пятьдесят. Автомобиль. Пасека.

Предложил коньяку. М-ль Тель не пила. Гертруда заказала две мессы и десять кило меду. Пригласила кюре обедать: будет утка.

— Я приеду с м-ль Тель?

— Да, конечно.

Потом Гертруда, покраснев, сказала:

— Я поеду в Россию на конгресс. Вот профессор русского языка. Он будет жить у меня в нижнем этаже, а я в третьем. Но кабы чего не подумали?... Боюсь, кабы не было разговоров?

— Кому какое дело, — ответил кюре.

— А вдруг заговорят?

— Кто?

Пошли на ферму покупать утку.

— Вы ведь не думаете, что у кюре с м-ль Тель «есть что-нибудь»? — спросила Гертруда.

— Не знаю. Не думаю. Не похоже.

— Да, у нее «респектабельный» вид... Фермерша сдерет с меня за утку в три дорога. Я всегда слежу, когда она взвешивает. Они на мне наживаются!..

На ферме в клетке был полуручной суслик. Фер-



мерша могла его гладить. Большой. Сантиметров сорок. У него торчали два длинных желтых зуба-резца.

— Он пьет молоко и ест сахар, — сказала фермерша.

Погорелов, конфузясь, попросил принести кусочек сахару. Суслик сел на задние лапки и на дыбках, держа передними кусок, стал быстро его грызть.

— А как же зимой?

— Зимой спит, как чурбан. Мы его держим вместе с овцами. Там все же теплей.

Видя интерес, проявленный Погореловым к суслику, Гертруда заявила: «Вам, кажется, суслик нравится больше, чем я», — чем удивила Погорелова. Фермерше же она сказала, что вот де профессор будет жить у нее внизу, а она наверху. — «Но как бы чего не подумали?» Тогда фермерша и «подумала», но успокоила: «Кому какое дело!»...

Погорелов с сусликом подружился. Вместо прогулки, ходил к нему и носил ему кроме сахара травку. Суслик его знал. Завидев или на оклик он выскакивал из своей норы в сене, карабкался по решетке, чтобы быть поближе к лицу и так как бы здоровался. Потом спускался и поедая вкусную свежую травку, а невкусную с быстротой и даже негодованием отбрасывал лапкой. Выходило как бы: «Ну что за дурак, какую дрянь тоже даешь? Ничего не понимаешь!» Таким образом Погорелов узнавал, что он любит. Он ел вику, клевер, салат, листья лозы. Под конец он получал сахар.

Фермеры принимали Погорелова за чудака и не обращали на него внимания. За ним установилась репутация, что он «любит животных». Гертруда же этим прогулкам явно не сочувствовала и ревниво смотрела с террасы. «Вы любите суслика больше меня и ходите к нему на свиданье» (Да на свиданье!).

Иногда они ходили вместе на ту же ферму за продуктами. Он, чтобы помочь ей нести.

— Завтра мне надо быть, говорила по дороге Гер-

труда со всей серьезность, в форме, — придет столяр. Он хочет взять с меня сумасшедшие деньги! Я потратила все утро! Просмотрела все счета, все, что он сделал: в одном месте покоробилось! За это я ему платить не буду! (и не заплатила). Тяжело одинокой женщине. Во все надо входить самой... Или вот Бернадет. — Приходит убирать. Захотела 300 франков в час! Еще чего! Даю 250. Но не могу уйти! Должна за ней следить! Так медленно работает и молчит. Просто ужасно. Тупая какая-то, а ведь зимой где-то учится...»

Погорелов после видел эту Бернадет — девушку лет 16-ти с замкнутым лицом и подстриженными волосами, как у средневекового паж. Она терла-терла стекла и стекла неприятно свистели. (сказано было: «вытрите получше!»). Она скребла-скребла старой бритвой засохшие капельки краски. Заметив его, быстро обернулась и сказала: «Бонжур, мосье» и Погорелову стало ее жалко. — «Бонжур м-ль Бернадет! Как дела?» — сказал он с подчеркнутой приветливостью. И вдруг верхняя часть лица ее осветилась, как зарницей: заговорили по-человечески, нижняя слегка массивная мужественная осталась неподвижной, но никакой тупости. Тупость с Гертрудой — была способом самозащиты: «Да, м-м, нет м-м...» После как-то, когда Погорелов дал ей конфет, она улыбнулась уже как женщина и нижней частью лица.

Было два элемента в атмосфере виллы. Первый — люди подчинялись вещам и вещественному, натертому паркету, доеданию пищи, мухам, которые могут влететь и потому окна надо открывать то с севера, то с юга (а мух вообще не было), долго-гретой воде и убытку от этого, шуму спускаемой воды в уборной (нельзя раньше восьми часов)... Другой элемент, который носился в воздухе и имел склонность возрастать, — это — женское начало. Для удовлетворения этого физиологического элемента «голодающей» Гертрудой был, видимо, разработан план-расчет. Как вязалось это

с ее ярким католицизмом, (Погорелов был женат и она это знала) — неизвестно. Только Погорелов очутился в положении крупной дичи. План-расчет был вероятно выработан еще в Париже.

Одним из методов самозащиты у него был именно урок русского языка. Если выражаться образно: то он хватал ее за шиворот, тряс долго, обливал холодной водой, выщипывал перья и выбрасывал через окно, так что она после урока уходила изможденная. Он на уроках был очень строгим и требовательным. « Не зсон, а сон ! "с" ясное, не зразу, а сразу ! Повторите ! "Не свех, а всех". Повторите ! Здесь "л" твердое — лоб, лужа. Еще раз ! — Скажите сами что-нибудь ». Она делает жест, видимо указывая на какой-то предмет и говорит : « Я получила в Сен-Жан, потому что она прекрасная ! » Он, с удивлением, на нее смотрит молча, догадывается и поправляет.

— Читайте ! Она читает. Произнесите еще раз « ы ». Та напрягается и из горла ее раздается какое-то шипенье, клокотанье и рычание « хры » !. Еще раз : « Мы, вы, дым. Теперь расскажите, что прочли ».

— Ça, alors !

Постепенно глаза ее соловеют, покрываются огромным количеством поволоки, она зевает, прикрывая рот рукой.

— Вы устали ?

Но она молчит. Она хочет за свои деньги получать полностью и, если можно, — еще больше. Урок продолжается.

— Зачем такой трудный русский язык !

— Лучше сказать, — почему так труден русский язык. — И он объясняет.

Они начинают ненавидеть друг друга. Погорелов думает : « такая толстая мордатая тетка, у которой торчит нижняя юбка, никогда не сможет научиться русскому языку ! »

У нее же вздувается шея и набухают глаза. Она смотрит на него, как лягушка на муху.

Наконец урок окончен!

Гертруду отнюдь нельзя назвать некрасивой. Девочкой, барышней она была очень привлекательной. У нее была типично немецкая внешность. Теперь она полна, но еще не расплывчата. Формы богаты. Есть любители. Она следила за «линией» и вдруг садилась на диету, питаясь одним прокисшим молоком (ее метод). Правда, иногда срывалась. Однажды в Париже, придя на урок, он увидел перед собой толстенную огромную тетю. — «Я не выдержала. Прибавила шесть кило. Но это ничего. Это вода, а не жир. Перестану есть и пройдет». На даче она держала линию и даже наряжалась. Приходилось говорить комплименты.

Конечно, если взять, например, отдельно оголенную ногу Гертруды, которую она выставляла для соблазна, то лучше зажмурить глаза. Еще того хуже, если рядом, для сравнения, поставить (или положить) ногу маленькой худенькой барышни-брюнетки! Получится чудовищный контраст! Какая-то преисподняя символика. — Ад и рай! И надо бежать. Но в целом у Гертруды пропорция была.

Гертруда очень ухаживала за Погореловым. Спрашивала, что он хочет на обед? Какой сыр предпочитает? Поджаривала для него хлеб. Настояла, чтобы он утром съедал яйцо. Грела для него воду для ванны. Ставила цветы в комнату и вообще оказывала всяческое внимание. Конечно, Гертруда оставалась Гертрудой. Например вопрос: «Сколько вы будете съедать поджаренного хлеба?»

— Да я не знаю! Сколько съестся. Думаю, три-четыре куска (уже не точно!).

И эта настойчивость, чтобы он ел яйцо. «Да я не хочу! Я не привык! А с ее точки зрения — «полагается» — и все тут! Или, когда он клал пять кусков сахара в чашку кофе, то она невольно моргала.

Гертруда скоро поняла, что одними голыми коленками Погорелова не возьмешь. Надо с другого фронта. За обедом и ужином стали вестись философские и

литературные разговоры. Говорили с осуждением о дисгармонии современной музыки, о неэстетичности и абсурдности современной живописи и скульптуры, об аморальности современной литературы, о любви возвышенной. Она читала «Доктора Живаго». Ею была очень оценена любовь Живаго к Ларе и та деликатность и завуалированность с которой он об этой любви говорит. Главный упор был вообще на любовь. Она рассказывала некоторые свои любовные тайны. Оказывается, она не могла выйти замуж за своего, мужа, так как он был полуеврей (было время Гитлера). Прожили так семь лет. И есть еще у нее большая любовь. Он в Германии. Занимает крупное место. Был против того, чтобы она учила русский язык. Что-то давно не писал. Он ее так любит! Так любит! Он приносит ей кофе утром в кровать и она метнула сладкий взгляд в сторону Погорелова, но, встретив с его стороны совершенно холодный в ответ (чего захотела!), добавила: «хотя бы маленькую чашку черного! Я так об этом мечтаю!»

— Пойдемте завтра в... — предлагает она.

— Спасибо. Я уже там был. Когда поднимался, то пульс у меня вместо 60 был 120...

— Вы меня избегаете?

— Да нет. Я занят, я пишу роман. Я люблю ходить один и думать...

— Расскажите, расскажите про роман...

Она расспрашивала про Россию. Страшно боялась туда ехать, но и страшно хотелось. Она хотела при этом обязательно купить там... шкуру медведя, как ковер для виллы. Но без головы, а то жалко (медведя).

— А много в России медведей? — спросила она.

— Есть штук двести, — в шутку сказал Погорелов, — бурых. Не считая белых.

Она приняла всерьез.

— Мне нужно бурого.

— Хорошо.

Погорелов был окружен неким смаком, словно

являлся сдобным вкусным пирогом, который вскоре будут есть и уже про себя улыбаются, предвкушая удовольствие. Он идет — его смакуют. Он сидит — его смакуют. Он есть — его смакуют. И он невольно чувствовал себя неловко, и ходил, как... пирог !

Он часто садился на веранде, откуда открывался чудесный вид на долину и горы. Она же расставляла около складную кровать и бросала на него полные вожделения взгляды. Это тяготило. Он с грустью смотрел на прекрасную долину и горы. — Мешает любовать-ся !

В результате весь воздух был наполнен женским вожделением. Вся вилла. Вся веранда. Оно было в каждой поданной чашке. В цветах на столе. В приготовленной ванне : словно подсматривали, когда он моется. А он был так стыдлив. Он запирался, прислушивался — она умела так тихо ходить. Он даже смотрел в замочную скважину. (А вдруг оттуда другой глаз !).

Он ходил не по паркету, а по густым облакам вожделений. Поднимается во второй этаж к столу, а ему вожделение в нос : трах ! Но он шел храбро, хотя и незащищенный и безоружный. Кричи не кричи хриплым голосом, а кругом никого ! Никто на помощь прийти не сможет. У Гертруды была смесь грубого с сентиментальным. Очень грубого и примитивного. И эта страсть, которая ее обуяла ! Она доктор-психиатр. Сидит там и внушает. Из каждой ее поры сочится, несет, дует, льется хотение... Взять его ! Одолеть его ! — Самодовольная, самоуверенная. — Как он может ! ? Как он смеет не хотеть ! Я — тут. Я его кормлю. Он в моей вилле, за которую я заплатила десять миллионов. Он в моей власти ! Один. Я — прекрасна, « роскошна », предлагаю себя, а он ! Смеет отказываться ! Сломить его волю. Раздеться и прийти к нему ночью и он не сможет устоять ! Грубое негодование и грубая страсть мешались. Она действительно могла своим ключом открыть дверь или... кататься в истерике. Из ее комнаты неслышимый истошный крик, как у кошки или коровы.

В особенности было опасно, когда приходилось пройти близко от Гертруды. Не выдержит! Сорвется! Она так вся и пульсировала! Набросится! Повалит! И начнет! Все это чувствовалось, как наваждение, как колдовство, как негритянский там-там.

...Играла фантазия... Вечером из углов его комнаты показывались, как щупальцы спрута, то голые руки, то ноги. То вдруг из окна медленно вылезала безобразная огромная «штука», она приковывала внимание, ослабляла волю, нельзя было оторваться и оставляла без сил!

...Погорелов невольно представлял себе картину своего падения с Гертрудой. — Прямо с ужасом! Оно казалось ему позорным и унижительным для его «я». Казалось посрамлением Любви, Души и Красоты. Нужно было быть просто настоящей живой свиньей... Кроме того, это сопровождалось бы удушливым и удушющим ложным и бесконечным сентиментализмом... У него волосы шевелились на голове. Вот он ад-то! Это не верно, что ад — это в огне гореть. Ад, — это в грязи тонуть!

Формально же, внешне — Погорелов являлся спокойный, невозмутимо-спокойный и вел светский разговор. — Не укусишь! Ничего не произошло! Ничего не может произойти! Строго щурил глаза.

Если раньше от уроков, когда он, «выщипывал из нее перья, обдавал холодной водой и выбрасывал в окно» она начинала его ненавидеть, — теперь они перестали так действовать. Она размякала, ничего не соображала, ложилась как бы на спину поднимала руки и ноги вверх, и говорила: бей меня. Делай, что хочешь!

В воскресенье, нарядившись пуще прежнего, надев шляпу-клош, она отправлялась в церковь. Спускаясь с горы, махала ручкой. «Как то она будет исповедоваться?» — думал Погорелов. Сам устраивался на веранде. Теперь один! Теперь могу наслаждаться! Смотри. Слушай.



Мелодично, низким коротким звоном позвякивают колокольцы на коровьей шее, с ноткой вечной грусти. Ударят церковные часы. Долго бьют и затихнут. Прислушаться: поют жаворонки и чекают перепела. Их здесь очень много, они поют и днем. Еще прислушаться, зигзагообразно жужжат разные насекомые и невнятно слышны голоса людей. Им постоянно что-то нужно. Воскресенье, но они возят сено и понукают светлоногого мула: «Ю-у! (Пошел!)... К-ка!!! (Пошел же!) ...О-о! (Облегченное, что значит: стой!) ...

Пролетают короткокрылые черные вороны. Все почему-то по три. Вдруг заревет корова: захотелось высказаться, а слов нету. Жалобно заблеет овца... В горах так резонирует! Такое эхо!

Несмотря на все это, — общее впечатление: покой и тишина. Звуки же эти, как мысли в голове, — настоящего шума не делают. Все доминируют горы! Они же явно *молчат!* Это их *молчанье* сильнее всяких шумов! Они создают *тишину*. Лезет по ним *молча* темный еловый лес. Дальше-выше лезет *молча* зеленый луг. Дальше: каменистые вершины со снежными лохмами и они, этим жарким летом, *тихо* тают. Заворачивают куда-то ущелья, но уже завернули и *застыли*. Крался куда-то зеленый дракон по вершине горы и *окаменел*. Голова у него седая.

Среди этой прекрасной природы, прекрасной погоды, прекрасных условий жить бы, наслаждаться бы, творить бы, набираться бы сил! Рождать бы детей, но с любимой!



Наконец Гертруда решила, что пора приступать к последней стадии.

После ужина, когда он обычно уходил, теперь она стала усаживать Погорелова в кресло, подавала ему



фрукты и настойку из лимонных корок (будто бы помогает от ревматизма), наливала туда «для вкуса» какой-то драгоценнейший зеленый ликер, ставила музыку Баха и сама садилась, раскинувшись и млея напротив.

Погорелов пил тизан. Ел фрукты. Слушал Баха. Говорил: «Спокойной ночи» и уходил. Здесь он сделал может быть одну оплошность, — на прощанье он стал целовать руку. — (Но ведь так за ним ухаживают!)

Рука потом подносилась к губам и его слегка задерживала. Он все же говорил спокойной ночи и загадочно улыбался. Может быть эта улыбка — тоже ошибка! Но загадочность эта означала лишь: «Я вижу, понимаю, но я не здесь».

После трех дней тизана, ликера и Баха произошел кризис.

Утром за кофе Гертруда была мрачна, надута и вдруг сказала: «Я не понимаю вашего отношения к женщине».

Погорелов поднял на нее глаза, ожидая, что будет дальше, потом добавил:

— Я очень хорошо отношусь к женщине. Я люблю женщин.

— Я это знаю, — неожиданно для него ответила Гертруда, — и что же!?

— Я ценю в них главным образом сторону романтическую и поэтическую.

— А какая же другая сторона?

Он не ответил.

— Я готовлю для вас обеды и ужины и трачу на это три часа в день, сама я ничего не ем, мне ничего не надо.. а вы...

— Что же... Что я?... Я могу сегодня уехать...

— Нет. Я хочу знать... довольны ли вы?

— Доволен. Спасибо... У вас характер холостяка. Вы хотите, чтобы не только вещи были по-вашему, но даже люди.

За обедом она заявила, что Погорелов ее обидел,

сказав, что у нее характер холостяка. Он ее не понимает и думает, что она самая обыкновенная женщина. Холостяки эгоисты и материалисты, она же натура интеллектуальная и возвышенная. Сегодня она русским языком заниматься не будет! — Она должна пойти к кюре по важному делу. И чтобы вообще он ее впредь не ждал. На столе все будет готово.

В пять часов (время чая) она ушла и не возвращалась долго, стало совсем темно, Погорелов стал беспокоиться и пошел ее встречать, но так и не встретил.

Ложился спать, а ее все нет. Слышно было-б, как поднималась. «Что она там так долго делает у кюре? Изливается? Спрашивает совета? Опять изливается. Что-то про меня наговорит?.. А вдруг на нее напали по дороге? Или заблудилась?..

Вдруг пришла мысль — неужели кюре... поздно вечером... решил «согрешить» и сделать «доброе дело»?.. потушил свет... Не знаю. Не знаю. Не думаю. У него респектабельный вид. — Лучше держаться в стороне от местной жизни... И Погорелов заснул.

На другой день Погорелов поднялся ровно в девять, как всегда. Стол был накрыт. Хлеб поджарен. Яйцо сварено. Стояли масло, сыр, мед, молоко. На плите закипала вода для кофе. — И никого. Когда он кончил утренний завтрак и собирался уходить, то сверху с внутренней лестницы раздался голос: «Я и сегодня тоже не буду заниматься русским языком».

«Тогда я пойду обедать в ресторан», — ответил Погорелов (в полверсте был такой на время каникул).

Последовало согласительное молчанье.

Что говорила Гертруда кюре, в чем исповедовалась — неизвестно. Но Погорелов решил: останусь еще дня два, — может быть одумается. Если нет, — уеду. Хочет меня избегать по совету кюре, — хорошо, — я буду тоже.

Вилла превратилась в заколдованный дом. Стол бывал накрыт. Закипал чайник. И никого. Кто-то неви-

димый следил и слушал. Присутствовал. Выжидал. Выглядывал. Но царило молчанье. Иногда только под тяжелыми ногами скрипели половицы.

Теперь у Погорелова осталось много свободного времени. Он решил подняться еще выше в горы, где пасет коров и коз дед — богатый савойский фермер. (Овцы паслись в общественном стаде). Хотя дед — сам хозяин, но нечего ему без дела сидеть. Пристроили детки.

Погорелова провожала невестка деда. По дороге она сорвала несколько невзрачных цветков : розово-сиреневых и молча их протянула, то ли чтобы показать, то ли чтобы дать. Он поблагодарил, понюхал : от них шел нежный запах горных лугов, — и вставил в петлицу. Фермерша покраснела. « Как мало надо » — подумал он.

Собаки встретили лаем. Их окрикнули. Высокий старик стоял и смотрел не двигаясь. Фермерша представила : « Это профессор докторши. Пришел посмотреть. Он любит животных (как пропуск) ». Погорелов полупоклонился. Дед кивнул. Потом они стали медленно приближаться друг к другу и поздоровались. Дед сказал : « Работаешь, работаешь, — потом умрешь »...

Ближайшие коровы подняли голову и с раздумьем на него смотрели. Подошла совсем близко черная рогатая коза со своими заумными колдовскими глазами. Она ждала какого-то знака внимания. Дружелюбие козы было очевидным. Да и Погорелов хотел ее приласкать. — Но как ? Где ? Рога на голове, — не погладишь. Борода на шее, — шейку не почешешь. Хребет костист, а крестец просто рогулькой, — не похлопаешь. — Известно как ласкать собаку, лошадь, кошку, теленка, попугая (почесать хохолок), — а козу ? Он пощекотал ей сережки и потом погладил худую мускулистую шею...

« Животные привязываются к человеку и благодарны больше, чем люди » — сказал дед.

Погорелов получил боль парного молока. Поблаго-

дарил. Простился и отправился на свою комфортабельную виллу.

На комфортабельной вилле его ждала открытка от других немцев, — у него была маленькая группа учеников, — с приветом, как принято посылать на каникулах.

Вдруг утром. Из кухни. Выскочила Гертруда. Огромная! Вся пышет. Лицо в пятнах. Близко к нему! Глаза вытаращены. Прямо набросилась и стала с ожесточением говорить.

— Вы предпочитаете этих пруссаков! Этих «наци», а не меня!!! Я не могу этого вынести!!! Я бросаю совсем русский язык!!! И в Россию не поеду!!!

— Я ничего не понимаю. Никого не предпочитаю... И отступил на полшага.

Выпалив все, Гертруда, как гонимый вепрь, быстро со скрипом поднялась к себе по лестнице. Толстые голые ноги, нижняя юбка и возмущенное хотенье — клубом.

Потом Погорелов догадался: она прочла открытку немцев и устроила глупую сцену ревности. Он пошел в ресторан. Уговорил хозяина отвезти его на вокзал. В дыру же лестницы громко сказал: «Я уезжаю в два часа». — Он знал, что она там. Что она все слушает. Каждый шаг. Каждый звук ножа... Ответа не было.

В два часа приехал автомобиль. Гертруда вышла проводить. Стояла, как надгробная статуя. Заявила, что была больна. — Поцеловал ручку. Уехал со вздохом облегчения.

Из России получил от Гертруды открытку.

## УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ

(« Осколки »)

Вдруг наступила тишина ! Стучала дверь. Стучало окно. Слышны были шаги. Чирикала птичка. — А тишина была, невероятная ! Как ноль ! — БЕСНОВАТОГО НЕ СТАЛО ! Долго он сеял зло ! Изрыгал огонь ненависти ! — Ему кричали : « Хейль !!! — Я ! Я ! » — А он казнил, вешая на крюк мясника. Травил газом. Сжигал в печах. Расстреливал пленных. Умервщлал народы. Мучил. — А народ, его народ, кричал : « Да ! Да !!! »

— Не было Христа, чтоб изгнать беса. Не оказалось великого святого ! В детстве, мальчиком, — я знал одного сельского священника, который излечил бесноватого Алексея. Когда батюшка только шел молиться над ним, то Алексей кричал : « Идет ! Идет ! и тогда в нем самом поднимались страшные крики на разные голоса : басом и тенером ! хотя басом он никогда не говорил.

Нечистый был изгнан в виде лягушки...

Но этот батюшка был *малым* святым. И умер он до нашествия (немцев).

...Тишина лопнула сразу ! Прорвалось ! Огалтели. На грузовиках и с красными флагами разъезжали и кричали : « Ура !!! »... Понятно.

Через некоторое время, с красными флагами и « ура ! » уехали на родину.

Не все уехали. — Остались. По разным причинам. — У одних притаился страх и шевелилась беспокойно совесть. У других на душе было так пусто, так измучено, выскреблено, что они потеряли всякую способность двигаться. Третьи ждали свободы и чудилась она им, как что-то радостное, победное и *любящее*. И наконец, совсем одинокие и замкнутые, — не хотели отдавать свою душу вновь на посмеянье !

И еще. — И это все знали. — Что там на родине — свой ОДЕРЖИМЫЙ. Как спрут сидит ! Поджидает ! — Этот тоже казнил и мучил. Загонял в лагеря на смерть ! Морил голодом... Но главное, — над душой издевался ! Над любовью. Над благородством, над пытливым умом, над правдивым словом !.. Люди озверали. Распладились трусы, подлизы, подхалимы. — *Новая раса*. И у нее детки будут. А спруту резать русский народ ничего не стоит. — Не его народ.

...Итак : наступила « вторая тишина ». Стучала дверь. Стучало окно. — И люди вздрагивали. Им сказали : « Вы свободны ! », а проволоку оставили. — Они стали « перемещенными лицами » (« Ди-пи »).

Прошел слух, — даже один прибежать исхитрился, — у всех возвращавшихся вещи отобрали и погнали, как скот ! Судить будут.

Тем не менее, вдруг, — один не выдержал, — высокий и бравый. Сказал громко : « Я все же поеду ! Нам тут не житье ! Там дадут пять лет (тюрьмы или ссылки), а может быть и меньше. — Войну-то выиграли ! По благу проживу ». — Сказал и уехал !

Еще слух : Черчилль не хочет разоруживать немецкую армию. Сто тысяч лучших сохраняет против Советской России...

— Что от англичан ждать ! ? Вечно гадили !

И еще : Василию Сталину « темную дали ». — Избили до полусмерти ! Никого не нашли. Его из Бер-

лина убрали, в генерал-майора от авиации произвели. Готовит себе смену !!! Сохрани Боже !

И еще, это уж не слух, а журнал « Сигнал » показывали, который немцы во время войны на многих языках издавали. Факсимиле письма сына Сталина, капитана тяжелой артиллерии, которого немцы взяли в плен. — Дорогой отец ! — начинается. Написано хорошим русским языком. — Предлагает « дорогому отцу » сдаваться. Все равно дело проиграно. — И подпись : « Твой сын Яков ». Этот сын носил фамилию не Сталина, а Джугашвили... \*).

Время шло. Никакого движения. Вечером в бараке стоял сизый туман. Иногда из женского барака прибегали : помочь выгнать крыс. Но так жить нельзя. Надо проявить самостоятельность. Лекции (а кто лектор ?), театральную группу. Хор. « Выставку » — сказала одна. — Какую выставку ? — Даже своим ушам не поверили. — « У меня есть картины, выставим фотографии и вообще у кого что есть... Например : драгоценности, сострил кто-то. — Тем не менее, на выставку, для начала, — согласились. Расставили столы. С одной стороны проходили зрители, а с другой стоял хозяин экспоната.

До чего бедно ! Наводило печаль. Поблекшие фотографии близких. Несколько малых картин на досточках в темных желто-красных тонах, словно освещенных камином. Продолговатые одежды. Большие глаза. Фигуры, лица, — похожие на иконы. И сама художница такая же. Один дядя выставил клетку для птиц. — Выстругал нижичком. И в ней чирик !

Широкоплечная сибирячка, будто бы — врач, — свою ночную рубашку со старинными кружевами. Полунин — учитель географии, державшийся особняком, нарисовал по памяти карту Северо-Американских Со-

---

\*) В « Русской Мысли » от 11 сент. 1975 г. появилась статья « М.С. : « Старший лейтенант », из которой следует, что письмо в « Сигнале » не было подлинным.

единенных Штатов, — надежда всех оставшихся здесь. И, кроме того, — ради шутки, — положил маленький никелированный замочек с ключиком от своей корзинки (настоящая драгоценность!). Рядом: худенькая барышня-балерина, смуглая, с черными угрюмо-испуганными глазами — балетные туфельки и юбочку с корсажиком.

Полунину было, по неизвестным причинам, — ее жалко. И в ее взгляде ему чудилась просьба о защите.

Посетители приходили и смотрели с серьезностью. Пришла и Марья Ивановна, — блондинка со škодливыми глаазами. — Волосы взбиты. Грудь подтянута. Декольте. И на нем веснушки. С ней два поклонника: «Ваня маленький» и паршивенький «Иван Иванович большой», — костистый, скуластый с цветом лица, как шелуха картофеля. На поклонников жалко смотреть: худые, плохо одетые, брюки обдрипаны, глаза вытаращены, идут — изгибаются — ухаживают. Марья Ивановна посмотрела на карту Полунина, метнула «обещающий» взгляд на хозяина, а сама замочек быстренько цап! да в сумочку.

Полунин и «цап» и «взгляд» заметил. — Нет, матушка, — Шалишь!

— Извольте, гражданка, отдать замочек, — сказал он вежливо.

— Какой замочек? Я не брала!

— Я ведь видел собственными глазами. Не шутите!

— Я и не шучу! (этак с наглостью) — Ваня! Отдайте замочек!

— Да я не брал, Марья Ивановна! Правда не брал!

— Иван Иванович! Проучите Ваню!

Иван Иванович рад стараться. — Отдавай замок, Вань! — и ударил его кулаком в живот.

— Ой, Да я же не брал! Право не брал! Общайте!

— Иван Иванович! Проучите еще Ваню! Посильней!



У того лицо озверело и он с силой ударил Ваню опять в живот.

— Ай!!! — закричал Ваня. Он согнулся в три погибели и глаза его вылезли на лоб.

— Не надо! — сказал Полунин. — Идите!

— Идемте, граждане, — сказала Марья Петровна и странная тройка стала удаляться. Послышался плачущий голос Вани:

— Марья Ивановна! За что же это вы на меня?

— А кто любит, Ваня, тот должен страдать!

Хотя выставка имела самый жалкий характер, но она расшевелила людей. Взялись с жаром за устройство вечера с хором и плясками (иначе у русских будто бы невозможно), и даже с балетом. Балерина должна была танцевать «Умирающего лебедя» под... гармонью. Решили пригласить американцев, новых хозяев, — хорошо их угостить и сказать, что так де нельзя: все время в бараках и за проволокой. Предварительно попросить их помочь устроить сцену, провести электричество, дать скамьи... Послали делегацию. Американцы пошли навстречу во всем. Появилась гармония, ноты. К нужному времени пришли солдаты с длинными лицами и обтянутыми задами. Жевали жвачку и все сделали. Грузовик привез стулья. Сцена была готова. Электричество проведено.

Американских гостей встретили бурными аплодисментами: союзники! главная надежда!

Попели. Поплясали. Последним номером: «Умирающий лебедь». Под музыку медленную и печальную, почти трагическую, — появилась балерина-лебедь на пуантах. Все замерли. Ноги ее, казавшиеся необыкновенно длинными, были в постоянном трепете. Распростертые руки — в плавном, но обессиленном полете. Все — в предчувствии смерти, в борьбе со смертью, в тоске по уходящей жизни. В то же время лицо балерины выражало тоску от жизни, тоску от этой жизни! Темп музыки оставался медленным, но трепет стал частым-частым и лебедь с полета в изнеможении опу-

стилась на землю. Откинулась назад. Грудь ее тяжело дышала, вздымалась. Мелькнули прекрасные ножницы ног и одна из них взметнулась вверх и застыла в напряжении. Носок вытянулся. Только кисти рук мелко дрожали. — Музыка стала затихать.

— Боже мой! — думал Полунин. Нога, — да это же лебединая шея и голова. Ей не хватает воздуха! Она страдает! Вместо слов говорят руки...

В последний раз вздымнулась грудь. — Вперед упала лебедь — к публике. Вытянула далеко теперь руку-шею и замерла! Надежды нет! Замолкла музыка. Настигла смерть. Прекрасной лебеди не стало.

Грянул гром аплодисментов. Каждый считал, — втайне, совсем втайне, — что балерина тенцевала для него...

А балерина продолжала лежать. Умерла на самом деле? Легкое волнение и шорох пронесся в публике. Вышел распорядитель. Балерина хотела действительно — так в этом танце, — умереть, а не возвращаться в барак, в безнадежность, в неизвестность... Распорядитель ее поднял. Снова раздались аплодисменты. Она же смотрела на публику маленькими черными угрюмыми глазками и изнеможенная — кланялась. Полунин был готов отдать за нее жизнь.

Он шел в барак и думал. Неужели я влюбился? Может ли любовь придти «из ничего»? Без единого общего слова?.. И почему я за нее так боюсь?.. Боюсь, кабы не «испортили». Что за глупое слово!.. Я одинок и она одинока... Ее надо приучать, как одичавшую зверюшку, бросая сначала дальше, а потом все ближе и ближе кусочки... Но никаких «кусочков» у меня нету. Мы сами осколки от столкновения «миров». Мы — ничто. Мы — битая посуда. Нас нельзя даже склеить. Быть «склеенным» можно только на родине!.. Я — учитель географии, она — балерина... И этот спрут там сидит! Неужели нельзя пожалеть народ? Пожалеть отдельных лиц?.. И чтоб не пресмыкаться. Сохранить человеческое достоинство. Не думать только о

подшипнике! — Оставили выход для народных сил в пьянстве да хулиганстве... Я не подшипник, я — человек. Народ тоже человек. Я — народ и народ — я.

Он иногда проходил мимо женского барака и заглядывал внутрь. Однажды услышал, — сказала сибирячка балерине: «Твой прошел». Он так удивился! — Неужели заметно? И он не подозревал, что своим хождением бросал он «кусочки», чтоб приучить «зверюшку». И «зверюшка» смотрела теперь без боязни, с любопытством.

То ли подействовал «вечер-представление», то ли «само собой»...

Прибыла партия подержанной одежды из Америки, для раздачи. Пожертвована. Много жилетов. Но вообще: о такой хорошей одежде лагерники могли только мечтать...

Выделили людей для сортировка на глазок. Мужская и женская по размерам. Полунин и балерина входили в эту партию.

Огромный склад на чердаке. Тюки. Полутемно. Случайно (?) они «более или менее» уединились. Полунин подошел к балерине, взял ее за руки и стал бормотать: «Вы так хорошо танцевали... Я не могу этого забыть!.. Мне вас так жалко!..» Но самого главного слова не сказал. Не посмел. Она к нему прильнула на момент. — Так объяснение кончилось. И, когда они присоединились к другим, то те на них косо поглядывали. — Что-то заметили.

Опять новость! Грандиозная! — Как из пушки выстрелили! — Набирают на работу в Америку! — И действительно, — подтвердилось. Сказали: вы поедете в свободную страну, где свободный труд. Сейчас требуются люди в Калифорнию для сбора апельсинов, а потом хлопка («Оки!» — мелькнуло у Полунина, который читал роман Стенбека «Грозди гнева»), а для женщин: горничными в Нью-Йорк. Подучитесь языку и можете выбрать любую профессию после.

Надо пройти комиссию. — Люди потянулись. — И

вдруг! — Новый пушечный выстрел: русских не берут!

«То-есть как? А кто ж воевал? Кто был союзником?»

«Спросите их! Берут украинцев, галичан, поляков, кавказцев, литовцев, крымских татар...» По преимуществу, самостийников. Уже комитетики образовались... На американские денежки. Даже «Казакия» объявилась... подлые политики! На расчленение России метят! «Союзники» (презрительно)... И еще не забудьте (он кому-то кричал и грозил пальцем), экзамен производят. — Вы объявите себя литовцем, а вас спросят: — А как по-литовски: сахар? Не знаете, вот сели! Провалились! Как: чеснок? Не знаете? Я вам скажу: чеснокас!»

Он понемногу успокоился... «Свою географию» тоже надо знать, сказал он напоследок.

Надо отдать справедливость, не-русские стали помогать русским. Один галичанин два раз за русского ходил. С перерывом. То кепку как-то наденет и лицо изменит, то выпрямится...

К Полунину подошла балерина и спросила: «Как быть?»

— Выдайте себя, скажем, за грузинку. Родились в городе Боржоме (знаменитая вода) на улице Грибодовской (наверное есть). С семи лет в Москве в балетной школе. Язык забыли. Укажите на свой тип. У вас тип не русский.

— А вы как?

— Выдам себя за украинца... Может быть встретимся? Там?

— Да! — и взглянула прямо в глаза. Даже с радостью детской.

— Можно жить. Быть ни одним. Можно ждать.

— Да, да! — подтвердила она и покраснела.

Почти предложение и почти согласие.

Комиссия к балерине была милостива. Прошел с

трудом и Полунин. Спросили, как по-украински « керосин », как « водка »...

Поехала балерина быть горничной в Нью-Йорке, а учитель географии, — собирать апельсины в Калифорнии. На душе у него было беспокойно. — « Нам здесь не житье ! », — вспомнились слова « бравого ». Где-то внутри осталась жалостливая любовь к родине. — « С ней и умру... вдали ». Ему представилась также картина, которую он видел ! Стоит толстый немец тюремник, расставив ноги, и русский пленный, — маленький и страшно худой, — курносая голова на тонкой шее, — присев обтирал толстому немцу сапоги ! — « Умру, не забуду ! »

## У МОНАСТЫРЯ

*Посвящаю  
Михаилу Геннадиевичу Озерецковскому*

### I

Головины, отец и сын Коля, спешили на вокзал. Боялись опоздать. И, как нарочно, такси попало из рук вон: зелено-грязное, старое, дребезжало, еле двигалось. Предупреждали шофера, что очень спешат и надо побыстрее, а он едет себе и едет потихоньку. Да еще на перекрестках заторы и красные огни невпопад. Шофер неловкий. Наконец, перед вокзальным затором, Головины вылезли, расплатились и с тяжелым багажом пошли пешком. До отхода оставалось всего несколько минут. Поезд был набит до отказа: в вагон казалось просто невозможно войти. Стояли плотно, человек к человеку, на площадке, да и чемоданы навалены горой.

Головин полез с решительным видом. Подаются. «У них места есть!» — говорят... И, переступая через чемоданы и ноги, тискаясь, извиняясь и непреклонно глядя перед собой, они дошли до своего купе. Места оказались занятыми. Головин сказал, что очень сожа-

леет, но просит освободить. А барышня прехорошенькая сидела. Другой, жуликоватого вида дядя, — того не жалко. Головины сели; Коля пошутил :

— Сам говоришь, что сожалеешь, а с места гонишь, — сказал и взглянул на барышню. Отец улыбнулся.

— Я и правда сожалею. Но такова жизнь... Ничего. Она едет далеко, а мы скоро вылезем, и я ей место уступлю и плацкарту дам.

— Почему думаешь, далеко едет ?

— По лицу. Видишь, насторожилась, приготовилась на дальнюю дорогу, да и по багажу : большой чемодан, а барышня одна.

Доехали неожиданно быстро, хотя расстояние порядочное. Но поезд скорый, летел и остановился только раз, а другие станции проскакивал. Хорошо что спросили. А то, в такой тесноте, не успеешь и вылезти. Станция большая, а стояли две минуты.

Велосипеды, конечно, не пришли, а ведь за три дня до отъезда отправили.

— Это ничего, — сказал железнодорожник, — скажите Рибо, он привезет.

— Кто такой Рибо ?

— О, его все знают. Он почту возит и гостиницу держит...

Семь верст до местечка ! Пришлось взять такси. Ехали полями, шла уборка хлеба. Холмистая местность, и все залито, — близко к полдню, — солнцем, золотом жнивья, снопов и кое-где еще нескошенной пшеницы. А сверху голубое небо с белыми облачками. Медленно плывут тяжелые возы. Медленно поступь больших лошадей. Полевые дороги с колеями, пылью. А среди всего этого — красное черное вульгарное такси, да еще дудит, спешит, требует, чтобы уступали дорогу.

Тетя Маня, — она уже много лет ездит сюда отдыхать, — рекомендовала это место, сняла Головиным комнату, а есть, говорит, будете в монастыре : « Там прекрасно кормят ! » Долго объясняла, как найти дом,

— искать надо от « зеленой мясной », единственной.  
« Ну, да я вас на площади у церкви встречу ».

Головин известил тетю Маню о приезде. В поезде же обнаружилось, что впопыхах забыл записку с адресом. Ничего, думает встретит тетя Маня.

Такси с треском прибыло на площадь у церкви. Никакой тети Мани! Предложил таксист отвезти к Рибо, — не согласились. Отвезти в монастырь — не согласились. И высадил на площади. Ждать-пождать — нет тети Мани! Надо искать самому. Вспомнилась « зеленая мясная ». Идет местная жительница. В трауре. Лицо соответствующее. Подходит Головин:

— Pardon, madame! Pourriez-vous m'indiquer où se trouve boucherie?

— Boucherie? Ne connais pas!

Вот те клюква! А ведь явно местная. Мяса что ли не есть, — пошутил мысленно. И опять с удивлением:

— Vous ne savez pas où se trouve la boucherie?

— Ah! La boucherie! — и указала дорогу. Недоразумение произошло оттого, что в первом случае Головин пропустил « ля », и тетенька подумала, что это чья-то фамилия.

Подошли к мясной. Действительно зеленая. А дальше как? Головин заглядывал туда-сюда. Узкий, кривой переулок, почти без домов. Туда. Завернул за кривизну, — перед маленьким кирпичным домиком стоит тетя Маня. Солидная, большая, весь дом загромождает, так что только она и видна, а дома почти нет.

— А я уж хотела уходить!

— То есть как? И что же вы тут-то ждете? Ведь условились на церковной площади, там и скамейки есть, — сказал Головин, так, между прочим, зная, что у тети Мани логика своя. По ее логике вполне могло выйти: условились у церкви, « а лучше » у дома. — Адрес забыл, пришлось искать, — продолжал Головин, — Домик ничего. И соседей нет. Тоже лучше. Надоели люди. Познакомьте с хозяйкой!



Тетя Маня с таинственным видом отвела Головина в сторону (отводить-то надо было от одного Коли) и говорит тихо :

— Вы с ней, с хозяйкой, много не разговаривайте.

— Почему ? Я и не собираюсь, но почему ?

— Да она была... горничной у какой-то графини.

— Ну так что ?

— И... воображает...

Что воображает ? Объяснений не последовало.

Вышла хозяйка. Высокая, пожилая, худая женщина, с болезненно-выпуклыми глазами. Показала комнату — поставила, говорит, по вашей просьбе вторую кровать, не понравится, как хотите. Кровать, первая, как всегда, двуспальная, а вторая узкая.

— Как, Коля, подойдет тебе ?

— Хорошо ! — с полным удовольствием, хотя при его росте ноги придется поджимать, но для него авантюра... радость отдыха.

— Нам все нравится, — сказал Головин хозяйке. — Спасибо. Утром я буду здесь заниматься с сыном, у него экзамены, а есть будем в монастыре.

— Я вам разрешаю, — сказала с важностью и раздельно, — заниматься в гостинной... И вот вам ключ от дома.

Какое доверие !

— Очень хорошо ! Большое спасибо ! А мы пойдем обедать.

— Приятного аппетита ! (Знаменитое французское пожелание). И, отдав ключ, хозяйка вышла с гордо поднятой головой, может быть, подражая своей графине.

— Вы ей видимо понравились, — сказала тетя Маня. — Они же над своим салоном дрожат. И ключ от дома дала... Теперь я вас поведу в монастырь.

По дороге в монастырь Головин передавал поклонны и жаловался на несправедливость правительства : в пятницу вечером, субботу и воскресенье нельзя пользоваться правом скидки.

— Это антисоциально, — говорил он, — антидемократично. Рабочие теряют два дня отпуска.

Тетя Маня помалкивала. Она была очень правых убеждений, слова: рабочие, социальный, демократический, имели для нее революционный привкус. И во всем она видела руку коммунистов. Даже быть недовольным — значит играть на руку коммунистам.

— Вот мы и пришли.

Щеколда щелкнула, звонок звякнул. Открыли дверь. Навстречу с лаем бежала маленькая, с сильной проседью собачка. Лохматая до невозможности и кривая. А на другом глазу бельмо. Она не хотела укусить, но глаз ее был очень серьезен. Справа над сараями — клетушки и оттуда смотрела голова с рыжей бородой, приветливо улыбалась и кивала. Из сарая вышла худая, болезненного вида монашенка в очках. Остановилась и глядела на Головина с явным недружелюбием. Почему? — подумал он... (Когда-то в миру, лет двадцать назад, он был с ней знаком и теперь видел, что она его узнала).

Тетя Маня издали представила Головина, назвав невероятное для русского уха имя монахини. Головин поклонился сдержанно, как незнакомой.

На высокое крыльцо из дома вышла другая монахиня, толстая, краснощекая, и с ней большая холеная собака. Она стала взывать необыкновенно звонко, на все село: «Фоми! Фоми!» — Это она звала есть маленькую кривую собачку, у которой, между прочим, был прекрасный слух. Большая собака равнодушно слушала и равнодушно смотрела на Головиных. Томи прибежал и монашка удалилась с собаками.

Слева у дома — колодец, а над колодцем на ворота висело три небольших колокола. Около сарай, в который вела дверь с крестом.

Головин и тетя Маня поднялись на крыльцо. Навстречу быстрым шагом вышла еще монахиня в белом накрахмаленном апостольнике, с «фарфоровым» лицом, голубыми глазами, вздернутым носиком. В руке

был большой звонок, как в гимназиях для переменки, она громко звонила на обед. Тетя Маня представила Головиных а про монахиню добавила :

— Это мать Василия.

— Я люблю молодежь ! — сказала монахиня и улыбнулась Коле.

— Что, надо их познакомить с игуменьей ? — спросила тетя Маня.

— О да, конечно ! Я это сделаю ! А вы оставайтесь обедать.

— Нет, нет, у меня суп варится. — И тетя Маня ушла, спросив Головина : — Вы найдете дорогу ?

Головин с сомнением улыбнулся : он мог заблудиться в трех соснах.

— Найдём, найдём, — ответил за отца Коля.

В большой комнате-столовой — три длинных стола. Направо для монахинь, которые скромно и сгорбленно стояли (другая их часть обедала в кухне). Налево — самый длинный стол, где председательствовала игуменья и сидел священник, и третий стол у окна, во главе которого предназначили место для Головина.

Входили пансионеры-жильцы. Почти одни женщины. Все стояли. Быстрыми, нервными шагами вошла высокая, седая монахиня в светло-сером платье и белом апостольнике. В глазах ее, тоже светло-серых, застыло выражение одновременно : гонимости и бунта. Она расставила аналойчик и разложила книги... Вошел очень старый батюшка. Кое-кто подошел под благословение. Он пробрался на свое место, справа от игуменьи. А вот и игуменья. В черном. Высокая. С наперсным крестом. В очках. С палкой. Прихрамывает. Все повернулись к иконам. Монахиня в сером прочла молитву. Батюшка дал отпуск. Сели. Дзинькнул легкий звоночек игуменьи и серая монахиня спросила : « Благослови, отче честный, прочести ». — Священник ответил формулой разрешения.

— Рассказ иностранки, побывавшей в России и

говорящей по-русски, — прочла монахиня, как заглавие.

Это был рассказ из первого периода революции, когда особенно жестоко и безжалостно преследовалась вера и церковнослужители. Иностранке удалось побывать в одной церкви, с оглядкой, с опаской, поздним вечером, где оставался, как в заточении, священник; перед тем он был арестован и истязаем, но остался тверд, — теперь его лишили всякого права на пропитание Тайком ему бросали кусок хлеба. Священник показал иностранке церковь, отвечал на ее вопросы со спокойствием, беззлобием и верой в Бога. Он был тяжело болен и знал, что долго не проживет. « Да простит им Бог... Христос заповедал любить врагов... Я скоро умру... Что я... » — и он осенил себя крестным знамением...

Голос серой монахини прерывался от волнения — вот-вот расплечется. Игуменья поняла. Раздался легкий звончок и серая монахиня, промелькнув как птица, скрылась. Пансионеры стали негромко разговаривать.

Напротив Головина сидела строгая, даже суровая с виду монахиня, мать Ия. Она заведовала столовой и была казначеем. Высокая. Бледное крупное лицо. Краткая речь, прямые суждения, без витиеватости, без снисходительной непонятливости. Видела все насквозь. И, вероятно, жизнь представлялась ей в неприкрытой и неприглядной наготе. Она носила специальный корсет — были какие-то серьезные нелады с позвоночником, и не могла становиться на колени. Исповедница! — говорили про нее. Была учительницей, а когда начались гонения на церковь, приняла монашество. Пострадала. И, наверно, готова и еще пострадать за веру.

Слева от Головина посадили Колю, а справа молоденькую француженку, приехавшую в монастырь для практики в русском языке. Она была мала ростом, плоскогруда, бледна, с прямым, довольно большим но-

сом, прямыми черными бровями, длинными ресницами и темно-карими с зеленоватым оттенком, как лесной орех, глазами, влажными, ясными, красивыми и искренними. Движения ее были быстры и суждения, вероятно, решительны. Монахини звали ее Катей, хотя имя ее Сесиль. За французенкой сидел польный, крупный, бравого вида господин с рыжими усами. Он посматривал на Головина очень благожелательно, с ясным намерением поскорее познакомиться и заговорить. Головин делал вид, что его намерений не замечает.

Первую тарелку подали Головину и он с «пожалуйста» и с улыбкой передал ее французенке. Та, поколебавшись, взяла. По лицу монахини напротив пробежала легкая и быстрая, как молния, усмешка. Головин понял, что сделал ошибку.

Накормили явно плохо. Жидкий овощной суп, на второе один блин, к нему немного картофеля и все взбрызнуто жидкой сметанкой. На сладкое чашечка кислого компота. Да еще за обедом мать Василия («фарфоровая» монахиня) предупреждала, чуть ли не с гордостью: у нас тут мясо только два раза в неделю, а по пятницам рыба. А тетя Маня уверяла: «Кормят прекрасно». Откуда она взяла? Сама-то тут не ест. Своя логика. Головин даже не знал, что она тут не питается. Теперь говорит: «Мне дорого». А почему ему, Головину, не дорого?

— Ну, как, сыты? — спросила мать Василия после обеда.

— Для первого раза ничего, — ответил Головин без улыбки, вяло и протяжно, — но боюсь, что Коле будет маловато.

За ужином порции были больше и сообщили, что «игуменья сказала», что Коле надо шесть блинов, а ему дали один. И думала наверно игуменья, что выразилась гиперболически, а Коля съел бы все десять, с «гиперболой» в придачу.

С тех пор стали давать достаточно, с прибавкой, а

для Коли даже со скрытой прибавкой: где-нибудь в салате оказывалось зарытым целое яйцо!

## 2

Надо было что-то предпринимать с велосипедами. Не пришли, а тут пригодятся. Пошел к Рибо, который возит почту и держит гостиницу. Навстречу вышла его жена, высокая, молодая, стройная. Умные небольшие глазки блестят. Смотрит приветливо. Скулы выдаются и подняты кверху, как бывает у русских. Пахнет супом. Быстро сговорились, что муж привезет велосипеды. Поняла с полуслова. Улыбается. Головин отдал квитанции, сказал «до свидания» и тоже улыбнулся на прощанье.

На обратном пути встретил тетю Маню, говорит:

— А знаете, у вашего Рибо очень хорошая жена. Быстрая, ловкая, понятливая. Скулы навверх. Да и красива...

— О да! Она душка! И это все она сделала, а до нее гостиница была в запущении. И это он, муж, считает себя красавцем, а сам мужик косолапый!.. Зайдете ко мне посмотреть, как я живу? Познакомитесь с Бабулей.

— Спасибо. Хорошо. Зайду сегодня.

Пошел к тете Мане с визитом. Жила она, занимала домик, в большой крестьянской усадьбе на краю села, где был и огород, и виноградник, и фруктовые деревья. Где чувствовался простор, приволье. Где зелень казалась гуще и ярче, и была даже своя полевая дорога. Хозяйка усадьбы, «Бабуля», лет восьмидесяти. Сгорбленная, но здоровая, с крупным загорелым лицом, с серыми пытливыми глазами. В соломенной шляпе, как бывают у лошадей. Вечно в работе, вечно в заботе. Ходит она с каким-нибудь «орудием производства» туда-сюда. Спросите ее что-нибудь, а она: «Attendez voir» (произносила «вуэр»), что соответствовало:

« дайте подумать ». Это было ей необходимо, ничего она не принимала на веру, а все судила своим собственным умом и, следовательно, надо было рассудить.

Тетя Маня у нее блаженствовала. Раскинет свое крупное тело на длинном кресле перед домиком, а около привезенные ею любимые две кошки гуляют, а она мир Божий наблюдает, с Бабулей переговаривается, за кошками посматривает, а в домике на спиртовке овощной суп варится. Головин так и застал тетю Маню возлежащей. Большой серый кот по прозвищу Дядя, увидев Головина, поднял хвост вверх наотмашь, — признак дружбы, и, потянув задние ноги, пошел Головину навстречу. С солидностью. А у ног стал горбиться и ласкаться. Они были большими друзьями.

— Что же это Дядя так похудел? — спросил Головин.

— Еще что! — ответила тетя Маня.

— Какой Дядя в Париже был толстый! А теперь?

— Это оттого, что он... ест ящериц и пауков. — Ищите тут логику. Новый способ похудения! — И потом, подумаешь! Утром кашу есть не хочет, а вечером, небось, ест и чавкает.

Появилась Бабуля. Красноносая от солнца, в лошадиной шляпе и с серпом в руке. Головин познакомился и спросил, не мешают ли ей коты? « Вот По-Поль (так она звала Дядю) наделал мне в салат пи-пи. Я его! — погрозила она. — Больше к себе не приму! » Потом Бабуля скрылась и принесла несколько уже созревших слив. Головин пил чай и наслаждался, как бывает, на лоне природы и с хорошими людьми.

Оказывается, тетя Маня уже была у Рибо и сказала его жене: « Вы произвели сильное впечатление на моего знакомого », — то есть на Головина, — каково! Мадам Рибо, рассказывала тетя Маня, покраснела от удовольствия. « Нет, — говорит, — неправда! » « А мужу, который тут же был, я сказала, — продолжала тетя Маня: а вы, мсье Рибо, должны радоваться и гордиться, что у вас такая замечательная жена! И

красивая, и золотые руки ». И родителей жены поздравила с такой дочкой, и (представил себе Головин) торжественно и плавно удалилась. Провожала ее мадам Рибо и на прощанье со смущением сказала : « Передайте вашему знакомому, что он мне тоже очень понравился ! » Головин только удивлялся : о, институтска душа ! Чего ей надо было у Рибо ?..

Когда Головин ушел, Бабуля пристала к тете Мане : « Est-ce qu'il est bien ce monsieur ? » — и пытливо глядела, заходя то с одной стороны, то с другой. — « Non ! » — ответила тетя Маня и добавила : — « Pas tout à fait ». Бабуля прекрасно поняла, что это шутка. И вопрос был для нее « классирован », и была даже довольна, что к ее любимой жилище ходит в гости такой солидный господин.

А Головин, когда после заходил к тете Мане и ее не заставлял, с удовольствием оставался минут на десять поговорить с Бабулей.

У Бабули с тетей Маней были самые прекрасные отношения, хотя и существовали крупные принципиальные разногласия. Тетя Маня историчка, почти археологичка, веровала и в шесть дней творения, и в шестикрылых серафимов, и в жестокого Бога еврейского, и во всепрощающего Христа, а Бабуля, необразованная, требовала научного доказательства, и считала, что со смертью полностью прекращается наше существование. Иногда они пускались в дружеский философский спор.

Вечером и утром усердно молилась тетя Маня, смотря на икону и лампадку, а когда становилась на колени, то серый кот, чувствуя, видимо, душевное беспокойство своей хозяйки, вскакивал на сундук и старался утешить, как мог, ласкаясь и мурлыкая. Бабуля же, проходя мимо и взглянув деликатно, чуть качала головой в своем скептицизме.

У них был даже свой « роман ». « Ma chérie », — звала ее тетя Маня (выходило вроде, как « моя голубка »). И Бабуля, ей в ответ, звала тетю Маню — « Mon



*gros lapin* » (что-то вроде : « мой толстый зайчик). Хотя « Шери » было восемьдесят лет, а « толстому зайчику » под семьдесят. Но это неважно, — легкая дымка романтизма и сентиментальности близка женской душе, в особенности институтской.

### 3

Читали о « Святой Мироносице Равноапостольной Марии Магдалине ». Это она « первая бысть воскресшего Христа зрительница ». И потом всюду проповедовала и « прииде же в Рим к Тиверию Кесарю предста », дала ему яйцо — дар бедных, и стала говорить о воскресшем Христе. « Это так же невозможно, — сказал Кесарь, — как то, чтобы яйцо это стало из белого красным ». И стало яйцо ярко-красным в руке Кесаря.

Изображают Марину Магдалину с красным яйцом в руке и в день ее памяти раздают пасхальные яйца.

Разговор за столом начинался только после, как зазвенит колокольчик игуменьи и чтение кончится. Француженка Сесиль, которую прозвали Катей, чувствовала себя с Головиными прекрасно. До сих пор ей видимо было скучно среди монахинь и пансионеров, все больше старушек. Приняли ее в монастыре очень хорошо, с большой симпатией и вниманием. Когда был католический праздник, ей об этом напоминали и она шла в костел, а потом ее поздравляли с праздником. Батюшка только был огорчен, что не нашел в святцах имени Сесиль, чтобы за нее тоже молиться. « Ну, я буду — мысленно !.. »

Когда первую тарелку за столом Головина подали ему, он опять невольно хотел передать ее сидевшей справа француженке, но, под насмешливым взглядом монахини напротив, спохватился, улыбнулся и оставил у себя. Коля заметил и тоже улыбнулся, довольный всякому происшествию. Его острый взгляд видел и наблюдал все : и маленькую бледную француженку с

красивыми глазами, сидевшую напротив и прозванную Катей, наблюдал и отца с его легкой застывшей улыбкой, как у Будды, и рыжего, усатого господина необыкновенно бравого вида, и деревья во дворе, и слушал божественное чтение и внимал, сам улыбаясь, когда отец как бы давал урок русского языка Кате.

— Моя тарелка сползает, — сказал Головин Кате, — а у вас тоже ?

— Тарелка сползает ? Тарелка « *une assiette* » — сползает ? Ползает ?

— Да, ползать.

— *Remper* ?

— Здесь у « сползать » есть префикс « с » и он « продуктивен ». — Видя по глазам, что Катя не понимает, он добавил по-французски. — *Ici le préfixe « с » n'est pas vide, il ajoute le sens « descendre ».* « С », — повторил он по-русски, — придает смысл « спускаться » : я схожу со сцены, слезаю с лошади, « *remper en descendant* ». Здесь лучше перевести : « *glisser* ».

Катя напряженно слушала.

— Да, я вижу.

— Почему вижу ? Это с английского ?

— Я была в Англии. Я понимаю, — поправились.

— Или у тарелки горб, или стол неровный, — продолжал Головин.

— У тарелки... горб ?

— *Une bosse.*

— *Une bosse* может быть внизу ?

— Да, если, он, например, у тарелки. Переверните ее и он будет сверху... Ешьте, ешьте, я не хочу вам мешать.

— *Mangez, mangez*, — мешать ? *Mélanger*

— Мешать это « *remuer* », *mélanger* скорее перемешать или перемешивать. Мешать тоже « *gêner* ». Я мешаю вам есть.

— О да : *perfectif* — *imperfectif*.

— Это конек французов-учителей.

— Конек ? Маленький конь ?

— Конек в первом значении, действительно, маленький конь, но здесь это: «dada». Русские очень любят лошадей, и потому, вероятно, это приобрело такой смысл. Конек может значить и: «хороший конь» совсем не маленький. «Ну и конек!» — как ласкательное и восклицательное. Конек может быть и на крыше.

— На крыше? — с крайним удивлением. — Маленький конь на крыше?

Головин, видя напряжение, с которым она слушала и старалась понять, перешел на французский. Коля следил с большим удовольствием и интересом. Монахини слушали молча.

— Пойдемте после обеда гулять? — сказал Головин в конце обеда.

— Куда? — Даже в этом «куда» чувствовалась иностранка: нужна цель.

— Да куда хотите. Будем искать целебный источник, говорят, здесь есть, или озеро.

Стали расспрашивать дорогу. Одни говорят, дорога лесиста, другие, по открытому месту, но указывали одно и то же направление. Лучшее всех объяснил рыжий батюшка. Симпатичный и слегка заикающийся. Это его голова когда-то высунулась из чердачной каморки. Сесиль-Катя надела, достала откуда-то, широченную черную шляпу индокитайского типа. Шли сначала по открытому месту, а потом лесом, обе версии о дороге оказались правильными... А вот и озеро. Обошли оба. Затягиваются илом и болотной травкой. Могила. Кто-то утонул. Мостики для рыболовов. Головин снял Колю с Катей на мостике. Она сначала не хотела, но позу приняла и в нужный момент голову повернула.

Катя была оживлена, весела и в разговоре искренна. Было приятно наблюдать этот мирок, чем-то слегка обиженный, непривыкший к вниманию, молодой и цельный... «Мужчины не ищут ума у женщины» — говорила она. Или: «Когда меня принуждают, мне хочется сделать напротив».

Головин, конечно, спорил.

— А вы думаете, женщины ценят ум у мужчины?

— Да!

— Женщины ценят все, что блестит, хотя бы это был начищенный таз, — шутил Головин.

На привале Головин угощал шоколадом. Катя усиленно отказывалась.

— Что вы, что вы! Почему? — убеждал Головин.

— Я же всем поровну. Ничего в этом особенно нету, я и Коле дам и себе возьму.

Вечером монахиня в белом апостольнике подошла к колодцу, где на вороте для ведра висели три колокола, и стала звонить. Медленно и осторожно спустился с крыльца старый-престарый батюшка в черных очках. Он был почти слеп и служил наизусть. К нему подбежала лохматая собачка Томи, стала прыгать и ласкаться. «Молодец, молодец! — говорил ей батюшка. — Пойдем молиться!»

Священник вошел в сарай-церковь, а собачка легла у входа. Она следила за каждым входящим, словно желая знать, все ли придут. И только когда все пришли и началась служба, она успокоилась, положила голову на лапы и осталась недвижима. Может быть доносившееся божественное пение трогало и проникало в ее собачью душу.

#### 4

Утром за кофе Головины встретили Катю. Она вышла из своей комнаты сразу же, словно поджидала и сказала: «Здравствуйте!»

— Мы здесь, Катя, как в семье, во всяком случае, в общежитии, и лучше говорить: «с добрым утром» или «доброе утро». Так же, как вечером: «спокойной ночи», вместо «до свидания».

— Да? «Спокойной ночи» я знаю.

— Ну, как спали? — продолжал Головин, и сам

ответил, пока Катя собиралась. — Ничего, спасибо ! Видели что-нибудь во сне ? Нет, ничего, — опять сам ответил Головин. — А кофе вам нравится ? Ничего. Видите, я вам три раза сказал « ничего », в трех разных значениях : первое « *assez bien* », второе : « *rien du tout* » и третье « *comme-ci, comme-ça* ». А можно еще в значении : « *presque rien* ».

— Да, это интересно... и трудно.

— Ну, вы знаете, ваше « *jamais* » тоже устраивает штучки, то это « никогда », то « всегда », *à jamais*, — навсегда.

Сегодня за обедом читали : « Ответ сербу, который спрашивает — разве нужна религия, если ты хороший патриот ?.. »

Вечером пошли пасти коров. Коровы две. Одна « переходила », вовремя не случили, и теперь молока не давала. Это была солидная, опытная и серьезная корова. Другая молодка, недавно покрытая, ждала первого теленка. Корова была умница и красавица, но с норовом, молодая кровь телячья еще не перебродила. Она могла дать и стрекача, и неожиданно пореветь и брыкнуть, просто так, в воздух, без злого умысла. Никакой дисциплины. Перед обедом Головин видел : корова, выйдя самовольно из закуты, направилась к парадному крыльцу и стала есть цветы, горшки только летели. Рванет, мотнет головой, — цветок в рот, а горшок об землю. Вышедшая монахиня увидала, с испугом посмотрела и ушла « от греха ». Видимо, городская была и корову принимала за страшного зверя. Головин загнал корову.

Шли : две коровы, за коровами Головин с монахиней, а сзади Коля и Катя и еще собачка Томи. На рогах у каждой коровы длинная массивная цепь до земли и по земле волочитесь, звякает. « Зачем же ? — спросил Головин. — Может ногу повредить ». — « Чтобы не убежали ».

Коровы, конечно, не стесняются, дела свои проделывает, тем более, что их обкармливали клевером,

который был в цвету. Шли, как странная процессия. Люди-публика выходили из домов и смотрели. Молча, скорее недружелюбно, — на двух коров, на монахиню и Головина, на Колю и Катю и на Томи. Томи на французов тоже недружелюбно смотрел.

Пересекли поле клевера, и монахиня кричала на коров, чтобы не ели чужого, а Головин удивлялся коровьей выдержке. Поднялись в гору и у леска остановились. Постелили одеяла и сели. Коровы паслись. Монахиня принесла с собой книжку: «Житие Святой Терезы маленькой». Потом монахиня предложила показать еще одно поле, им принадлежащее: «Вы можете там располагаться, как угодно». Головины и монахиня встали и пошли посмотреть, а Катю оставили стеречь. Молодая корова подняла голову и за ними следила. Только они скрылись, как она пошла прямо на Катю, прошла может быть всего в аршине от нее, пахнув на девушку коровьим духом, — та сидела ни жива, ни мертва. Корова перешла на соседнее поле и стала есть яблоки прямо с дерева... Головины вернулись и застали корову за этим занятием.

— Что же вы, Катя, туда ее пустили, не отогнали?

— Она прошла мимо меня, здесь, — ответила Катя по-французски и показала на край одеяла, а по глазам было видно, что набралась страху, и даже была довольна, что ее-то не съела, а ограничилась яблоками. Головин улыбнулся: трудно было себе представить «бой» маленькой, хилой, неумелой Кати с большой и наглой коровой... Опять сели на одеяло и Томи тоже, и стал чесаться. Катя брезгливо отодвинулась и сказала: «*Mais pourquoi il se gratte ? Il est plein de puces !*»

— Да, блох у него наверно много... — Собаки всегда чешутся. И что ж вы его обижаете? — с улыбкой, — Томи очень хорошая собака.

— *C'est plus fort que moi...*

Головин стал гладить Томи, а тот слегка облизывался от удовольствия, а на Катю посматривал недружелюбно, словно понимал.

— Его надо вымыть...

Был прекрасный вечер. Начинался закат. Так сидели они, переговариваясь. С верху холма был виден, через долину, другой скат и село, а они, на одеяле, как на ковче-самолете...

Тем же порядком пошли домой: две коровы звякали цепями, монахиня и Головин, Коля и Катя, а Томи, на этот раз, вел всю компанию.

Звякнул колокольчик. Закрылась калитка и они вошли в третий мир — монастырский. Первый был на одеяле, на лоне природы, второй в селе, когда проходили...

Сели на скамеечке, в ожидании ужина. Послышался козий топоток и легкое позвякивание. Томи заволновался и стал смотреть в подворотню. Открылась калитка, раздалась команда: «Правое плечо вперед! Марш! Прямо! Смирно! Равнение налево!» Это вошел со своими козами Алексей Петрович, полный рыжеватый господин, сидевший за столом Головина. Он остановился перед Головиным «во фронт», отдал честь и сказал: разрешите представиться! И так они стали знакомы.

За ужином он набросился на Головина: какого училища? Какого полка? Капитан? А какие у вас погоны в Павловском училище? А значок такой? — и сам сказал. — А ваш полк взял сорок два орудия у немцев в бою под Тарнавкой (до сих пор помнил! А это было в 1915 году). Сорок два действующих орудия, — смаковал он, — каково!

Весь интерес его сводился к военному делу. Дважды должен был он менять гимназии, — выгоняли за «успехи и поведение». Окончил варшавскую, поступил в университет, бросил и пошел в военное училище, оттуда «за характер» отчислен в армию, где и получил производство в офицеры... Война. Эвакуация в Болгарию. Участие в корпусе Штейфона (Сербия) на стороне немцев, чтобы «свергать большевиков». Обманули немцы, сказали за Россию, а сами на Россию.

— Бывали в Париже? — спросил Головин.

— Да, во Френ \*).

Рассказывал про боевые операции и боевые выпивки. « Ранило меня, я упал. А пулемет продолжает строчить. Надо мной! Надо мной! Истек кровью... Немцы обманули, даже оружия тяжелого нам не давали. Не верили... Бывало придут у сербов отбирать хлеб, а те его нам. Ничего не найдут и уйдут. А мы его сербам вернем. Уж и пили потом люту ракию! Немцы обманули », — повторял. И его геройство, считал он, превратилось в позор.

Теперь судьба его прибила к женскому монастырю, без права на работу и передвижение. Это монастырь его вызволил из тюрьмы. Болел малярией. « Как выпью, так схватывает ». А когда монахини его жалели, заболевшего, то он розовел, краснел, размякал.

## 5

Больше всего имела дело с Головиными мать Василия. Ее глаза остались голубыми, несмотря на почтенный возраст. Она носила безукоризненно накрахмаленный апостольник. И ее бледное чистенькое личико со вздернутым носиком и со старческим румянцем на щеках, делало ее похожей на фарфоровую статуэтку. « У меня плохой характер », — говорила она, недовольная собой, покачивая головой. (Плохое качество ее характера видимо заключалось в том, что она не удерживалась и говорила правду). « Посмотрите, вот сестра \*\*) Еннафа, — скажешь ей что-нибудь, а она только улыбнется и тебя обнимет, а сама ни о ком никогда и никому дурного слова не скажет. Обо всех отзывается хорошо... О! игуменья замечательная женщина! Умни-

---

\*) Тюрьма в Париже.

\*\*) Немантийная монахиня называется « сестрой », а не « матерью ».



ца. Все видит. Один раз у меня на апостольнике было желтое пятнышко, так заметила... Трудно монастырю. Сейчас пансионеры поддерживают. А потом зима. А после зимы настанет Великий пост. Семь часов церковной службы, да и пища не та. Монашки к концу совсем подтощают... — Говорила это она как бы даже с удовольствием. Как храбрый воин перед битвой.

Было любопытно наблюдать мать Василию с Колей, к которому она видимо чувствовала симпатию (« люблю молодежь »). Она подсовывала ему то шоколадку, то двойную порцию масла, то грушу дать то яйцо в салат зароет. Или смотрит на него, желая ему что-то сказать, а он на нее — и замрут. Раз произошел комический случай. Подложила она ему большую порцию майонеза на тарелку. Коля пришел и все сразу, « хапом » съел. Снисходительна была к нему, даже, можно сказать, потакала. И что в церковь не ходит — « ничего ». Я желаю ему, сказала она, и дальше поговоркой не то на славянском, не то на псковском диалекте (сама была из Псковщины), а смысл тот, что желает ему жить сто лет.

— А мне? — спросил Головин.

— И вам тоже, — но для Головина тон был не тот. — Хороший мальчик, хороший мальчик! — говорила она. — Честь вам и слава, что так воспитали!

А отец ничего особенно хорошего в своем « мальчике » не видел и воспитанием был недоволен. Он, правда, признавал, что у Коли « симпатичный вид ». Приветливый, вежливый, довольно красивый мальчик, охотно помогал и делал все, что его попросят. « Коля, не можешь ли ты сливу-скороспелку обобрать ». « Коля, может быть, ты можешь исправить, ручка от молотка отскочила ». « Коля, принеси, пожалуйста, дров ». « Коля, у Алексей Петровича приступ малярии, может быть ты после обеда коз постережешь? » И Коля помогал с удовольствием. И его благодарили и хвалили, и ему было приятно. Стал он вхож всюду: в

кухню, в сад-огород за домом, где собирались обычно гости-дамы (собственно, гостей не дам не было).

За обедом читали « Житие Бориса и Глеба ». Борис при крещении был назван Романом (в честь Романа Сладкопевца), а Глеб — Давидом.

Головин был поражен « рассказом ». Это была античная трагедия, художественная эпопея, огромное событие для того времени. Уже тогда существовало « общественное мнение ».

Святые Борис и Глеб были первыми канонизированными русскими святыми. Это они « отняли поношение от сынов русских », пребывавших долго в язычестве. Они были канонизованы раньше своего отца св. Владимира и прабабки св. Ольги. И если великий князь Владимир почитался, как правитель, то святость его народом мало признавалась \*). А почитание Бориса и Глеба сразу установилось, как всенародное, упреждая церковную канонизацию. После первых чудес митрополит Иоанн, грек, был « преужасен и в усумнении ». Но славяне и варяги стекались в Вышгород, желая поклониться мученикам и в чаянии новых чудес. И Летописная повесть, под 1015 годом, и знаменитый Нестор и другие той эпохи говорят о « погублении страсотерпцев », о « страсти и похвале », о « святых мучениках », о « заклании » их, « как агнцев ».

Народное воображение было поражено чудовищностью преступления, невинностью жертв и их глубокой верой, — они как бы представляли себя на заклание.

Борис и Глеб любили друг друга. Глеб был « детеск телом » и не разлучался с Борисом. Борис читает жития святых, молит Бога, чтобы « ходить по их стопам ». Он был предупрежден, что брат, Святополк, хочет убить его, но решил не противиться брату, не-

---

\*) Кн. Владимир, чтобы сесть на великокняжеский престол Киева, « устранил » своих двух братьев, будучи, конечно, еще язычником.

смотря на уговоры дружины, — он возвращался с похода на печенегов. Тогда дружина оставила его. Он проводит ночь в молитве, ожидая убийц. « Мученик буду Господу моему ». И убийцы пришли : варяг Пушта и поляк Ляшко. Верный слуга, отрок-воин Георгий (кажется, венгр) пытается защитить Бориса своим телом. Они убили Георгия, отрубив ему голову. Бориса сначала только тяжело ранили и он просит убийц разрешить помолиться перед смертью, а потом сказал : « Приступивше, скончайте службу вашу и буди мир брату моему и вам бытие... »

Тело Георгия нашли, а головы нет. Только после — плывут люди в ладье, видят в кустах сияние, — это голова Георгия просияла. Он признан святым и рисуют его на иконе со своей головой в руках.

Глеб, вызванный Святополком, был предупрежден другим братом Ярославом : не ехать, убьют. Глеб не хотел верить и поехал. По дороге у Смоленска был зарезан, как ягненок, подосланными убийцами.

Когда были обнаружены мощи Бориса и Глеба, гроб с телом Бориса внесли в церковь Вышгорода, а гроб с телом Глеба не могли поднять. Потребовалась многократная общая молитва : огромная толпа пела « Господи, помилуй », — тогда только могли внести.

Св. Борис и Глеб считаются покровителями России. При нашествии татар мощи Бориса и Глеба исчезли.

За обедом уроки русского языка с Катей продолжались. « Богатство языка, — говорил Головин, заключается не только в количестве слов. В Петербургской Публичной Библиотеке (теперь она называется Ленинградской имени Ленина) в филологическом отделе на русский (великорусский) язык полтора миллиона фишек ! Представляете себе ? Но ценность языка также в точности выражений, в возможности передать оттенок мысли. Возьмем имя « Павел ». Можно еще сказать : Павлик, Паша, Павлуша, Пашечка, Павлушка, — всюду разный оттенок... Во французском языке места подлежащего, сказуемого и дополнения совершенно опре-

деленно закреплены, а по-русски их можно менять. Я могу сказать : отец любит сына, сын любит отца, любит отец сына и сына любит отец. В каждой фразе есть свой оттенок. Представляете, какое это дает богатство... Конечно, не всегда, не все этим пользуются ».

После обеда пошли гулять по лесной дорожке, а потом напрямик лесом, довольно долго. Можно и заблудиться. Встретили какую-то поперечную дорогу. Заколебались, куда идти, а надо думать о возвращении.

— У тебя, кажется, есть карта, Коля, давай посмотрим, — сказал Головин.

— Зачем ? — с некоторым вызовом. Коля неохотно вынул карту и стал сам смотреть, видимо, ничего не понимая.

— Дай. Надо ориентироваться. Вот село. Вот дорога, по которой шли, — Головин повернул карту, как надо. — А вот и наша встречная, на которой мы стоим.

Коля сначала спорил, но потом, сообразив, почти вырвал карту из рук отца и стал объяснять Кате. Отец с удивлением на него посмотрел.

Возвращались быстро, но к чаю, вероятно, не успели бы.

— Зайдем к тете Мане. Она нас наверно напоит.

Тетя Маня встретила приветливо. Усадила гостей в кружок и угощала чаем с вареньем. Около ходили кошки. Бабуля с серпом посматривала издали серыми острыми глазами. Подошла, поговорила. Во всем был отпечаток добродушия и доброжелательства. Катя чувствовала себя прекрасно. Разговор был интересен, иногда остроумен. К ней относились со вниманием, как к равной, не было ни тени натянутости. Она отдыхала здесь даже от монастыря. И она видела, что сделала большие успехи в русском языке, свободно объяснялась. Когда собрались уходить, тетя Маня, простившись с Катей и Колей, попросила Головина остаться на минутку : « Мне надо вам что-то сказать ». И когда те

ушли, начала: « Вы забываете, Николай Евгеньевич, что находитесь в монастыре... »

— Что значит, я забываю?

— Игуменья сказала: « теперь Катя наверно русскому языку научится... Теперь она заговорит ».

— Что значит « теперь »? И хорошо, если заговорит.

— А монахини беспокоятся, — продолжала тетя Маня, — что Катя влюбится, обязательно влюбится... Такой интересный « молодой человек ».

— Кто это « молодой человек »? Я?

— Да...

— Этому « молодому человеку » пятьдесят шесть лет, — мрачно сказал Головин.

— Да, но вы забываете, что находитесь в монастыре.

— Я не монах, и они меня приняли, как пансионера. Что им от меня нужно? Сами монашки, а тоже: « влюбится ». Не могут без этого...

— Игуменья сказала...

— О, это закон! Придется не ходить с Катей и Колей гулять...

Простился, шел и ворчал: « Не могут, чтобы не вмешаться в чужую жизнь ». Ему было жаль и уроков русского языка, — это была его « сфера »... Катя была внимательной и умной ученицей. Ее вопросы, попытка понять, сравнить, делали урок интересным. Кроме того, этот маленький обиженный ерш был симпатичен... И как же теперь с Колей? Буду меньше видеть. Останусь один. А для него приехал. Желая добра, делают зло...

К ужину пришла веселая Катя, отодвинула стул, чтобы сесть справа от Головина. Подошла мать Василия и сказала: « Нет, барышня, вам не сюда » — и посадила за главный, « старушечий » стол. Улыбка с лица Кати сошла. Она побледнела и послушно села.

После ужина мать Василия сказала, обращаясь к Кате и Коле: « Молодежь, гулять! А вам (обращаясь к

Головину) я что-то покажу». И принесла Псалтырь времен Елизаветы Петровны, закапанный воском. Кожаный с золотым тиснением переплет попортился. Сзади выцветшими чернилами записи с титлами. Какая-то не то родословная, не то малая хроника. «Интересная вещь, — сказал Головин. — Следы воска, как капли слез». Он стал перелистывать и читать. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов (наверное, символы грехов, думал Головин). Яд у них, как яд змеи, как глухого асида, который затыкает уши свои... Лесной зверь подрывает ее (виноградную лозу — учение Христа) и полевой зверь объедает ее... На асида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона... Я заблудился, как овца потерянная... И вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем».

Были и рисунки. Василиск был изображен петухом со змениным хвостом.

— Спасибо, что показали, — сказал Головин матери Василии. — Ну, я пойду. Спокойной ночи.

## 6

На другой день утром старушка-пансионерка, наиболее бойкая и наиболее знающая, переводила с Катей в течение двух часов Евгения Онегина, чтобы возместить ей потрею Головина, как учителя. Вышла Катя после: волосы дыбом, а старушка качалась от усталости.

Коля же теперь, отзанимавшись утром с отцом, говорил: «Я пойду в монастырь». «Хорошо».

А обычно он ждал отца и они шли вместе и были, как говорили про них, неразлучны.

Когда Головин пришел к обеду, застал картину: Коля, расположившись на траве, чинил какой-то старый-престарый велосипед. А около на скамейке сидела Катя, как некая Эгерия. Под ее взглядом Коля выяв-

лял все свои способности, весь свой талант и все свое старание.

За обедом читали житие св. Пантелеймона. Отец его язычник, мать христианка. Отец отдал сына: «да врачебному навыкнет художеству... Все удивляхуся лепоте отрока».

Интересно, что Пантелеймон воскресил мертвого, не будучи еще крещен. Больше того, он только начал веровать и еще сомневался. Головину представилась картина: идет Пантелеймон. Жара. Кактусы. Камни. Пантелеймон сбился с пути. И вдруг видит: «Отроча мертво ехидною велиею угрызено», — а она, эта «велия ехидна», лежит рядом, свернувшись клубочком, мерцает жизнью и злобой. А мальчик сер и блекл. Пантелеймон «исперва убоясь» и «отступи мало», а потом «помысли... ныне подобает мне искусити и увести, истинна ли суть глаголенная от старца Ермолая», его наставника, будущего мученика. И рече Пантелеймон: «Господи Иисусе Христе, да буду раб Твой, яви силу Твою... отроча сие оживет, ехидна же мертва да будет...» И вскочил мальчик радостно («аки от сна»), а ехидна «бысть мертва».

Св. Пантелеймон был великий целитель, лечил, не брал денег, а слава его была так велика, что был призван царем Максимилианом и перед ним показал чудо своего лечения. «Жрецы же идольстии скреже-таху зубы». Царь предложил ему стать придворным лекарем, обещал все блага, но потребовал принести жертву богам. За отказ был подвергнут всевозможным мучениям. Царь Максимилиан вообще отличался необыкновенной лютостью. Это он «сожже две тьмы святых мучеников в церкви в праздник Рождества Христова». Он ожесточился против св. Пантелеймона, приказал: «железными ногтями строгати тело его и свещами горящими ребра опаляти...» Его колесовали, он был ввергнут в кипящее олово, был брошен с камнем в «глубину морксую» и «бысть иже на выи мучениковой камень аки лист легок» и «аки по суху

по водам ходяй »... Мучитель повелел « уготовити звериное позориште ». Но « звери кротко аки агнцы лизаху нозе его »... Разгневанный царь приказал рубить людей, славивших Христа, и зверей. « Слава Тебе, Христе Боже, яко не токмо человецы, но и звери Тебе ради умирают » (звери потом стали нетленны). Наконец, царь приказал отрубить голову. И « прегнуся железо аки воск », а тело святого « не прия язвы ». Окончив молитву Пантелеймон сам « веляше воином да усекут его, тии не хотяху »... Когда все же, по его просьбе, отрубили ему голову, то « истече вместо крове млеко », а « масличина же та (у которой он был казнен) того же часа исполнися плодов ». Царь приказал и дерево « посеци и сдробити ».

Головин упивался старинной русскославянской речью. Торжественной, родной и питающей до сих пор современный язык. И думал: вместо пяти часов в неделю и шести лет латинского, как у нас учили в гимназиях, надо было бы старорусский и славянский (и какие героические примеры!), — это наша « латынь ». Для « их » латыни довольно и двух часов. Мы ведь не французы. У них язык связан с латынью... И какие образы, какая наивность, наши примитивы. Разве не хороша эта картина, когда уготовил Максимилиан для св. Пантелеймона « звериное позориште », но « звери кротко аки агнцы лизаху нозе его, он же рукою поглаждаше их » и каждый зверь « тщашися под рукою быти святого »... Или этот народный образ: « истече вместо крове млеко », когда отрубили голову. Мало кто удостоился подобного жития: и мертвого воскресил, и по водам ходил (как Христос), и масличное дерево покрылось плодами (как цветами при смерти Богородицы).

Коля починил велосипед для Кати и пришел звать отца, поехать всем вместе, втроем, на прогулку. « Нет, Коля, спасибо, я не поеду. Поезжайте вдвоем ». « Папа не хочет », — сказал сын Кате.

Катя сама пришла и стала уговаривать: « Поедем-



те!» Головин отказался: «Не могу, Катя, спасибо, никак не могу» «Но почему?», спросила Катя с откровенной настойчивостью. Как ей объяснить? Что монашки бояться, как бы она в него не влюбилась, — и он продолжал говорить, что не может ехать, не объясняя причины. Она, слегка обиженная, ушла. Катя и Коля поехали одни.

Вернулись усталые и довольные. Коля рассказал отцу про поездку. И что «Катя сильная», и что «ехала быстро в гору и не отставала», и что «нельзя было этого ожидать».

— А зачем же ты гнал? — спросил отец.

— Я не гнал, но все же...

Когда молодежь уехала на велосипедах, монахиня-певунья повела Головина показывать в саду часовенку в честь преподобного Серафима. Красивая часовенка. Из дерева. В старорусском стиле.

## 7

Головин видел Катю только утром. Вместе шли пить кофе. Возвращались. После занятий Коля говорил: «Я пойду в монастырь». Что ему ответишь? «Хорошо».

Катю-Сесиль Головин встречал иногда утром за кофе. Не надолго. Она поджидала прихода, и только они появлялись, как быстро отворялась дверь и Катя входила. Готовила трудные вопросы по русскому языку.

— Что значит «хилый»?

Головин подумал и сказал:

— Лучше всего перевести, как «*chétif*». Ведь «*chétif*» не обидно?

— Нет, не обидно.

— «*Malingre*» — это болезненный, а хилый с виду может быть и прекрасного здоровья. Про вас можно

сказать — « хилая ». Кроме « хилый » есть близкое по значению слово, которое вы едва ли знаете : « тщедушный » — в чем душа держится.

— Не знаю.

— Вот вы с виду хилая, а посмотрите, какие у вас прекрасные богатые волосы, полные здоровья, как плодородная земля, как девственный лес.

Кате видимо приятно было слышать этот скрытый комплимент. Она слегка покраснела.

— А можно сказать : богатые волосы ?

— Можно, но это вольность.

Действительно, волосы у Кати были необыкновенно хороши : волнистые, пушистые, полные силы и жизни. Они переливались и мерцали темным, « густым » золотом.

Головин оглянулся случайно и с удивлением заметил « серую монашку ». Она слушала с испугом и интересом, потом, быстро взглянув своими большими глазами, бесшумно исчезла, словно кто-то ее сдунул.

— Жалею, что сказал про ваши волосы, — с легким раздражением произнес Головин.

— Почему ?

— Здесь нельзя говорит про такие вещи. Мы в монастыре. У них своя мерка. Как-нибудь не так поймут. Мне досадно, что нельзя говорить правду. Надо молчать, что существуют мужчины и женщины. Здесь мужчина не может быть галантным, хотя это его право и обязанность.

Катя с удивлением слушала :

— Вы думаете ?

— Да, да. Папа прав. У них не так, как у всех.

Головин взглянул на них обоих, Катю и Колю, и улыбнулся, уже очень велик был контраст. Коля, огромный голубоглазый блондин. Ему всего шестнадцать лет, а росту уже один метр восемьдесят шесть сантиметров. А Катя — маленькая темная шатенка с блестящими, почти черными глазами. Глаза ее, без友язни, поблескивали, готовы были дать отпор. Выра-

жение их было ясным, конкретным, знающим, чего хочет. Чувствовались суждения быстрые, решительные, может быть резкие. У Коли же глаза «впитывали», выражение их было всеобъемлющим, наивно-добрым, неопределенным и доброжелательным. В Коле еще чувствовался отрок. Катя была уже взрослой женщиной.

Что нравилось в Кате Головину, это ее интеллигентность. Ее стремления и интересы были высшего порядка. Вопрос сексуальный не был для нее главным, что часто встречается у француженок. Она была искренна и лишена кокетства. Теперь Коля и Катя стояли рядом, очень дружелюбно, и наверно тот ток симпатии, который часто приводит к влюбленности, уже установился между ними.

За обедом читали : « Ответ женщине, которая пишет : как мне быть, надо мной смеются, что я, интеллигентная женщина, а хожу в церковь ».

Предложили помочь сгрести сено в копны. Когда Головин пришел, там уже были монахиня-сестра Татьяна, Коля и Катя. Жарко, и Головин был в коротких штанах-шортах и рубашке с короткими рукавами, выше локтя. Работал он с удовольствием. Все, что от природы, ему нравилось. Когда сено сгребли, монахиня сказала Головину : « Спасибо. Идите теперь домой, а мы придем после ». Он ушел, несколько удивленный, что его « выставили ».

У Головина был недостаток : чрезвычайное неумение ориентироваться. Хуже того, он умел выбирать как раз обратное нужному направление. Он дошел до церкви (церковь-то было видно), а куда идти дальше, не знает и ходит кругом, заглядывая туда-сюда. Жители на него подозрительно посматривают, а он из самолюбия не хочет у них дорогу спросить, да и стыдно. Так его и застали — монахиня, Катя и Коля. И Коля, не без удовольствия, зная отца, спросил : « Что ты тут делаешь ? Ходишь кругом церкви ? » Они пошли вместе, молодые впереди, а он с монахиней. А

после ему мать Василия выговаривала, со свойственной ей прямоотой: « Что же это вы, мало того, что с монахиней гуляете, да еще в шортах ».

— Соблазн-то в мыслях, а не в шортах, — с досадой сказал Головин.

— Да, но что люди скажут?

— Что вы все: « люди скажут », важно, что на душе.

Головин остался совсем один. Он приехал сюда для Коли, с Колей, отказавшись от поездки с друзьями... Коля любил отца и знал, что отец его любит, но теперь видно, появилась новая сила и эта новая сила вместе с эгоизмом молодости заставили Колю забывать отца, « бросать » отца.

— Как собака во время свадьбы, — грубо сравнивал Головин. — А какое верное животное, собака.

Убивая время, не зная, куда себя деть, Головин стал чаще бывать в церкви, подружился с батюшкой, с лохматенькой кривой собачкой...

Рассказывал батюшка, очень старый и болезненный: « Уже пятьдесят семь лет священником. Венчал, помню, спрашиваю жениха: согласен ли ты взять себе в жены... А он мне: это как батюшка и как матушка... Или была у нас картинка, с надписью: « И выну очи мои ко Господу моему ». Нарисован человек, и в одной руке держит — глаза... « Я без России жить не могу, — говорил батюшка, — а вы? — « Я тоже ». « Стар стал, вот башмаки завязать очень трудно. И монахиня не хочет (дали ему в помощь монахиню из интеллигентных), нет, говорит, батюшка, надо делать самому ».

Головин потом спросил монахиню, почему она не хочет помочь завязать батюшке шнурки. « Нельзя, — ответила, — если будет считать себя слабым, то действительно ослабеет и умрет, не дай Бог ». Ох, уже эти « интеллигентные », подумал Головин. Все имеет свою меру. Но не жаловаться же игуменье.

Церковь была сооружена из большого сарая. Полы

устланы войлоком, коврами. Стены и столбы, подпирающие потолок, увешены иконами. Полумрак. Мерцают красновато свечи. На возвышении, справа от входа, ближе к иконостасу, стоит в длинной черной мантии величественная игуменья. Волевой подбородок. Темные глаза. Стоит неподвижно. Монахини разные, — вот, очень старая няня нашла здесь притул. Тихо кончает жизнь. В монастыре ей хорошо. Жизнь и смерть для нее естественные явления и над ними незачем раздумывать. И знает она, что многого не знает, и делает, как все.

Две полные монахини, единственно полные, двигаются степенно, крестятся степенно, с сознанием собственного достоинства. Лица спокойны, « нормальные », для них монашество — профессия. Перед смертью попросят они прощения грехов, а там представляют « записную книжку », — как исполняли правила веры и какие, по их мнению, добрые дела делали.

Отблеск свечей, полумрак, неподвижность делают игуменью похожей на изваяние из темного дерева. « Как идолица, освещенная жертвенными огнями », — невольно подумал Головин. И монахини входя или проходя мимо отвешивали ей низкий поясной поклон, — поклонялись со страхом и покорностью. Она не двигалась. Темные глаза мерцали мрачно. Подбородок выражал какую-то непреклонную волю. Кланялись монахини и Престолу, когда Царские Врата были открыты и у Престола стоял священник. « Неужели и в это время надо кланяться игуменье? » — думал Головин.

Темя Маня пошла ставить свечку и тоже игуменье поклон в пояс, и ловко так, умело, с поворотом. И рукой землю тронула. И на обратном пути опять поклон. Ее институтская душа даже в поклонах видела романтику.

Хор ведет круглолицая монахиня с ярко-карими глазами. Она поет низким смелым голосом — с восторгом, с упоением, как большая странная птица, как

Давид Псалмопевец. Ей вторит монахиня-англичанка. Казалось, для первого уже низкого голоса и втору найти нельзя, — а как поет! Вторая ее так на душу и ложится! Слово первый глас для Бога, для Его прославления, а второй — для людей, для нас грешных, чтобы найти в нашем сумбуре и умиряющую линию, чтобы показать, что и в сумбуре этом есть Божественное присутствие.

Алтарь освещен сильнее. У Престола служит и молится священник. Высокая бледная монахиня прислуживает. Со страхом и трепетом. Можно подумать, что церковь для нее преддверие Страшного Суда. И что видит она и предвкушает это предстояние перед Великим Судьей... Подсознательно чувствует ужасные грехи людские, ад крошечный, сияние Божественное, перед которым можно только падать ниц. Знает о смерти, неумолимо грядущей, и о тщетности земной...

## 8

Головин открыл калитку, вошел во двор — черная маленькая толстая монашка возилась с большим боченком, наверно, пустым. Что-то ей не удавалось. Как муравей с зерном, — подумал он. Монашка стала зывать: «Помогите! Помогите!» Что такое, подумал Головин, даже оглянулся, откуда монашке могла грозить опасность? И быстро подошел. «Вы говорите по-французские?» — спросила монашка возбужденно. «Да, говорю». — «Вот, никак не могу вытащить затычку из бочки, помогите». Затычка, — деревянная пробка, обернутая влажной белой тряпкой, туго сидела. Можно было вынуть ее, только раскачав и слегка ударя с боков.

Так началось знакомство Головина с матерью Феофилой. Она оказалась не француженкой, как он думал сначала, а гречанкой. Была общительна и относилась к категории немногих краснощеких. Он наблюдал ее в

церкви. Она была мантийной, и мантия, как ему показалось, была длиннее, чем у других (для большей важности, вероятно). Имела свой аналойчик и во время службы иногда читала по-гречески. Двигалась плавно и степенно. Церковь, видимо, была для нее своей «средой», и чувствовала она себя там, как у себя дома, — ни боязни, ни особого смирения, ни экстаза, ни надрыва...

Мать Феофила занималась и кормлением собак и кошек, и делала это с удовольствием, разговаривала со своими питомцами, объясняя, что сегодня менее вкусно или наоборот, что хорошо попало. Это она выходила на крыльцо и кричала-звала: Кунья (Куня), Фоми (Томи). Куня, большая сытая собака породы кооли, лениво появлялась из дома. Она была фавориткой игуменьи. Томи, маленький седо-лохматый одноглазый, был дворовым... Мать Феофила рассказывала про каждую собаку все подробности. Как случилось, что Томи потерял глаз, как у него вырезали «бомбошки» (геморроидальные шишки), как он раз сильно обжегся и пришел к ней, а она хотела его перевязать, и Томи было так больно, что он ее укусил («единственный раз!»)

Все было у матери Феофилы ясно и просто; любовь ее к животным была Головину симпатична. И он будто не был для нее «носителем дьявольского соблазна», а просто человеком. По-русским говорила хорошо, единственно только с затычкой для бочки произошла заминка.

Читали за обедом про первомученика архидиакона Стефана, «побиенна быша камением» за веру Христову.

Пришел Головин к чаю. В столовой сидели игуменья и кюре и пили чай с вареньем. Кюре приехал сказать, что где-то, километрах в тридцати, умирает русский и хотел бы причаститься перед смертью православному. Поехал старый батюшка и с ним мона-

хиня. Монахиня осталась ухаживать за умирающим. Через три дня вернулась : умер.

Запоздал ужин. Сидели на лавочке, ожидая звонка : с одной стороны Головин, с другой мать Феофила Подошла « молодежь », оживленная, усталая. Катя села посредине, а Коля остался стоять. Головин стал рассказывать : « Когда Коля был маленьким, а смотрите, какой вырос ! — то вечером как-то я читал, он играл около. Скоро надо было его укладывать. Светила лампа под желтым абажуром. Уютно. Мое присутствие всегда вносило в его маленькую душу покой и удовлетворение. Вдруг Коля подходит ко мне, кладет ручку на колено и спрашивает :

— Пап, а ведь у Боженьки много собачек ?

— Почему ты так думаешь ?

— Собачка умирает и идет к Боженьке.

— Да, это возможно...

— Видите, какой вы были хороший ! — сказала Катя Коле.

— А разве теперь плохой ? — спросила мать Феофила.

— О, нет, я не говорю, что теперь плохой.

— Был хорошим, но стал хуже, — добавил Головин (значит, у них ведутся принципиальные разговоры, подумал про себя), и продолжал : — В другой раз маленький Коля упомянул что-то про дьявола (религиозным воспитанием занималась его крестная). Я ему ответил, что не вполне уверен, что дьявол есть. Бог-то есть... Коля чрезвычайно удивился и даже возмутился, что я сомневаюсь в существовании дьявола, ходил около меня с блестящими глазенками и произнес целую речь в доказательство, что дьявол есть. « Он живет там ! » — говорил маленький Коля, показывая на пол...

— То, что вы говорите, это же ересь ! — сказала, тоже возмущенная, мать Феофила. — Дьявол, это падший ангел.

— Я нашла формулу, — заметила Катя : — Дьявол это аккумуляция зла.



— Источник зла — эгоизм... Так вы думаете, Катя, что Коля стал хуже, чем раньше? — сказал Головин. Катя уклонилась от прямого ответа.

— Он много изменился, — неопределенно сказала она.

Головин знал некоторые «философские установки» Коли. Так, Коля считал нормальным, что кошка ловит мышей и воробьев и их есть (и отнимать воробья у кошки не следует). Что война тоже нормальное явление и ничего не поделаешь, «иногда приходится». Коля «социально» был очень «левым». Он считал, что все люди равны. Защищал рабочих, негров, арабов и всех простых людей. Где-то тут у них были разногласия.

## 9

Коля перестал с отцом ужинать. Он то пас коз, то стерег коров, то пропадал неизвестно где, — все по монастырскому хозяйству, и все вдвоем с Катей. И потом на кухне, после всех, они весело ужинали. С сознанием исполненного долга, налитые солнцем и воздухом, насмотревшиеся друг на друга, радостно возбужденные. А еще пойдут погулять совсем вечером, когда будет темно. И завтра новый день!

Коля стал вхож всюду в монастыре. Головин как-то заглянул в сад, за домом, куда он стеснялся ходить: старушки, в длинных креслах, под деревьями сидели и разговаривали. С ними маленькая Катя. А около, прямо на земле, лежал огромный Коля, вытянув длинные ноги. Сознавал ли он некоторую неловкость своего положения, в монастырской обстановке, среди старушек, около своей симпатии? Скорее, притягательность Кати была сильнее неловкости. А Катя, старушки, монастырь понимали, почему он тут, напрасно он думал, что подлинная причина незаметна.

Комната Головина была мала и неудобна, а без

Коли и печальна. И Головин продолжал дружить с собачкой Томи. Приходил минут за десять до очередной пищи, специально для него, с ним «поговорить». Когда звякала калитка, Томи бросался с лаем и бежал навстречу, — при его малом росте и неуклюжести это не казалось быстрым. Лай постепенно затихал. Видел он плохо и не сразу узнавал Головина. Но хвост начинал вилять сильнее. Головин нарочно молчал. Томи, узнав окончательно, крутился около ног, потом, загроживая дорогу, прикладывал голову боком к земле, кладя ее на здоровый глаз и оставляя попку стоять и ждал ласки. Закрывал свой единственный что-то видящий глаз, — становилось темно и ласка казалась особенно теплой. Головин его сначала журил (добрым голосом) за лай и что не узнал, и что он «страшная злюка» и как это ему не стыдно. Потом гладил ласково и чесал ногой. Пес, в изнеможении от удовольствия, валился на спину и поджимал лапы.

Головин решил его постричь и вымыть. Первый раз (о, давно!), когда его остригли, Томи так сконфузился и считал себя настолько некрасивым, что два дня сидел под скамейкой или прятался в сарае. Стричь перестали. Шерсть стала еще гуще, свалываясь, закрывала глаза, касалась земли. Это поздняя чумка бросилась ему на глаза и один глаз совсем удалили, а на другом появилось маленькое белое пятнышко. Иногда из-под лохм выглядывал этот глаз и как много он говорил! Это не какой-нибудь глаз подлизы, а серьезный, полный собственного достоинства, верного служажки, знающего свое дело, разбирающегося в людях и обстоятельствах. Котилась ли коза, телилась ли корова, — он пускал в закуту только того, кого следует, а на остальных лаял и щерился. Следил за рождением, а когда появлялся козленок или теленок — новое существо, новое прибавление хозяйства, — пес принимался скакать и его облизывать... А как ненавидел он мясника! С каким ожесточенным лаем на него бросался!.. Когда выходил батюшка, медленно, по ста-

рости лет, спускался с лестницы, Томи бросался ему навстречу и они шли вместе молиться.

— Хотел бы я, — думал иногда Головин, — чтобы и ко мне относились так, как я отношусь к этой собаке.

За обедом читали житие мученицы Евлалии. «Иногда наста ночь, и вси спяху и уже бысть первое куроглашение, святая та девица изыде тайно из дому». Шла она сознательно, пострадать и умереть за веру. Никто ее не неволил. Жестокий Диадок испанский готов был сжалиться, видя ее девичью чистоту и непорочность, лишь бы она чуть уступила. Но тверда осталась Евлалия и предала ее мучениям. Тело после «заблагоухало».

После обеда Головин спросил мать Василию, можно ли ему постричь и вымыть Томи? «А-а, надо разрешение игуменьи». (Ну и ну, ничего без игуменьи нельзя). «И что это вы собачкой занимаетесь? Это же не человек».

— Не хуже, мать Василия... Спросите, пожалуйста, игуменью.

Разрешение было дано, но сказано, чтобы постричь немного. Головин достал ножницы и таз. Подстриг Томи над глазами, ноги и космы. Вымыл его хорошо, вытер и привязал к дереву, чтобы сох, а не валялся в пыли. Томи обиделся, что его привязали, и настолько явно, что Головин смеялся, гладил и объяснял, в чем дело... Когда Томи высох, он его отвязал. Томи словно понял, что все делалось для его блага. Он порывисто бросился к Головину. Да и легкость и чистоту чувствовал. «Эх, ты, как хороша жизнь, и как я тебя люблю. И какая в этом радость», — казалось, хотел он сказать.

Молодежь пошла искать источник.

— Я взял бутылочку для папы, — сказал Коля и показал пузырек Кате.

— А он просил?

— Нет, но я знаю, ему это интересно...

— Интересно ? Почему ? Он думает, что источник лечит от глаз ? У него болят глаза ?

— Нет, но он такие штуки любит.

— Он суеверный ? — сказала она по-французски.

— Нет... Как объяснить ? Не знаю... Он любит все... даже домовую его интересует.

— Домо-вой ? Быть дома ?..

Коля засмеялся. И лицо его озарилось прекрасной улыбкой.

— Нет, домовая, это : *l'esprit de la maison*.

— Но он же ходит в церковь ?

— Домовой ? — пошутил Коля.

— Нет, конечно, ваш отец...

— Да, но это совсем другое... Он всему верит и ничему не верит. — В голове смутно представилось, что объяснение непонятно и неточно. А она смотрела на него своими красивыми глазами.

— *Il est sceptique ?*

— Нет, нет... трудно объяснить. Он всем интересуется... Немного чудака.

— Чудака ? Чудо ?

— Не чудо, а чудной, — *étrange, drôle*.

Дроль — для французов понятно. На этом она успокоилась.

Когда они вернулись с прогулки, Головин сидел на лавочке в ожидании ужина.

— Папа, мы нашли целебный источник. Вот тебе, — и Коля подал флакончик с водой.

— Спасибо !

Головин взял пузырек, понюхал, отлил немного на ладонь и выпил. « Вода очень хорошая ! » — констатировал он. Потом полив на пальцы, он промыл глаза. Они смотрели на него с необыкновенным вниманием, следя за каждым движением, как за ритуалом.

— Спасибо, — сказал еще раз Головин и вдруг их обрызгал. Они отскочили с легким криком, но были довольны.

— Сеанс окончен, — а вам догадаться, что в этом правда, а что нет. Что шутка.

— Все шутка, — сказала Катя.

— Не думаю, — отозвался Коля.

— Примите во внимание, Катя, что я вас обрызгал целебной водой. И я вам обоим желаю добра.

## 10

— Максим Петрович опять появился!

— Какой Максим Петрович? Откуда?

— Ненормальный. Из тюрьмы. Пришел, как ни в чем не бывало, и сел обедать... Знаете, прошлым летом он купил у какого-то араба подложную карту, сжег в подвале, где жил, все свои бумаги, вещи и белье, и ушел. Его арестовали в Париже и посадили в тюрьму. Потом написали нам, что если мы заплатим за его содержание в тюрьме, то они его выпустят. Послали деньги, — и появился. В паспорте сделали пометку — жить только в нашем селе и без права работать. А разве он кого убил или что украл? А как ему теперь работать, без права? Если бы мы не выкупили, вы знаете, его бы выслали за границу, оттуда назад во Францию, потом в тюрьму, потом за границу, оттуда назад в тюрьму и так дальше. Как всегда у французских властей. Подводят к границе, обычно к бельгийской, и говорят — иди вон туда... А так он тихий и честный. Как-то нашел деньги, принес, — но ненормальный. То пошел в Турцию, чтобы помочь освободить... Берлин. То объявил голодовку, в тюрьме, чтобы показать Франции всю неправильность ее политики. Терпел день.

Максим Петрович сам подошел к Головину и познакомился. Он носил очень широкие и очень короткие брюки добротного сукна и пиджак с чужого плеча. Лицом напоминал Горького. Только ростом был мал. Головин пользовался его доверием. «Какая у них тут,

в монастыре, жизнь ! Никаких интересов. Это хорошо только старым ». Или рассказывал, как на скачках в Отэй играют в « три листика ». Сам Ротшильд играет, уверял он. — И по очень крупной ! У другого денег нет, проиграл, — убегает. А трудно узнать, где красная карта ! Искусство !

Во время всенощной Головин видел через окошко : ходит и ходит Максим Петрович по саду, о чем-то думает. Потом вошел в церковь и постоял минут двадцать.

Читали про Успение. « Дева Мария, Матерь Божия, приблизися к пречистому и преблаженному успению своему... и благоволящи уже отити от тела и внити к Богу... Предста святой архангел Гавриил, иже бе Ей от детства служитель... глаголы от Господа принес, возвести скорое Ее преставление по триех днех быти имущее ». Богородица стала молиться, чтобы могла Она видеть апостолов, а « В час своего исхода сам Сын Ея и Бог... пришед... (да) приимлет душу Ея » и (Она) « преклоняше на землю честныя своя колена » (и в то же время) « дерева бо масличная бездушная преклоняху верхи своя долу, кланящеся купно с Нею ».

Бравого рыжеусого Алексея Петровича на время перевели в другой монастырь, где близко был очень хороший доктор, чтобы он посмотрел его и полечил малярию. Головин решил заменить его и наколоть дров. Дрова дубовые, напиленные круглой пилой чурками, толстыми, суковатыми, плохо поддавались. Колун — не колун, а колунок на длинной ручке. Чурбан, на который надо ставить полено, неровный. Да еще, после нескольких сильных ударов, Головин обнаружил подозрительную трещину на топорнице, у самого обуха. Он смотрел на эту трещину и думал : была она раньше или нет ? Кто виноват ? Самому ему быть виноватым не хотелось.

Около, как из-под земли, выросла очень сторбленная монашка с корзинкой для растопок. Прямо гном. « Пришла, — говорит, — пособишь щёпок для

кухни» — «А плаха тут плохая, неровная, колоть трудно».

Головин стал ей собирать щепки, а она стояла около и говорила-рассказывала. Головин слушал не очень внимательно, но разговор поддерживал: видел, что ей хотелось высказаться. И в памяти остались лишь отрывочные фразы, о чем он после жалел. «Я ди-пи, немцы в войну из России привезли... жду визу в Америку. У меня там дети, — говорила она, смотря на него серыми, очень добрыми и очень выпуклыми глазами. Да еще через толстые стекла очков. — Я очень сильная была. Смотрите, — и в доказательство вдруг она вытянула откуда-то вверх две длинных сухих жилистых руки и, выпрямившись, стала большой. — У немки носила по семьдесят кило. Раз не знала, что внизу пепел с огнем. Спустилась с лестницы, высыпала в снег и мне прямо в глаза и все стало черным, ничего не вижу. Ослепла. Кровь брызнула из глаз, — она показала на поларшина. — И это было настоящее чудо, что выздоровела, — сказала она доверчиво и с убеждением, втайне довольная, что Бог проявил Себя, что, значит, Он с ней и ее не оставит. — Теперь я вижу»... Головин выискивал новые щепки и бросал ей в корзину, потом спросил: «А крысы здесь есть?» «Нет. Есть две кошки... Мыши через четыре года становятся крысами», — неожиданно добавила она и посмотрела испытующе. «Неужели», — подал реплику Головин. «Да, да! Ну, я пойду, а то меня на кухне ждут. Нам на кухне щепки нужны». Она слегка поклонилась, повела своими излучающими доброту глазами и исчезла. Головин видел эту сестру Еннафу (она не была мантийной) в церкви. Изумительно стояла. Два с половиной, три часа стоит сгорбленная и не садится, не обопрется, когда и по уставу можно сесть, чтобы передохнуть.. Может, ее мыши, которые через четыре года в крыс превращаются, это аллегория, мифическая формула, юродивое изречение...

Сестру Еннафу монахини корили, что она своих

детей любит и к ним собирается. «Разве это монахиня», — говорили с осуждением. А по Головину это она единственная, которая может ждать Царства Небесного. Никогда ни о ком дурного слова, дурной мысли.. «Улыбнется и обнимет». А как стоит в церкви! Ей и молитва не нужна, она и так с Богом общается. «Блаженны нищие духом».

Что есть цель у монастыря? Спасение души? Единственная, неповторяемая, по христианству, душа, не имеет ли и свой единственный путь к спасению? А в монастыре индивидуальность стирается, принижается. Игумен или игуменья — подлинный самодержавный царь и святыня. «Пятьдесят поклончиков во спасение души!» — рассказывал знакомый, бывший когда-то в монастыре, за то, что выпил квасу после вечерней молитвы — «было жарко и работали целый день». Отца Стефана, наказавшего, все ненавидели. «А поклоны-то земные! И после еще у всех прощения проси».

И может ли быть целью жизни Царство Небесное? Монахиня, сестра Татьяна, отчаянно трудится, — а где-то там она оставила мужа, сына. Сын женился на француженке. Дети его, ее внуки, не православные. Она пришла сюда доить коров, чистить коровники, копать огород. Ходит обтрепанная, сын не догадывается посылать хотя бы по три тысячи в месяц на марки, платки, мыло. Работает так, что и в церковь не имеет возможности пойти. (Специальное право ей дано, в церковь не ходить). Всех кормит. «Мы с вами еще поговорим, еще поспорим, — сказала она как-то Головину. — Монашеский путь совсем особый».

— Нам трудно спорить, — ответил ей Головин. — Нет равных условий. Я мирянин и совершенно свободен. И свободу свою чрезвычайно ценю. Рабом быть не хочу, даже у Бога. Я оставляю за собой право не верить и сомневаться. Трудно нам спорить, Вы выбрали ваш путь...

Это сестра Татьяна читала житие Терезы «малой»,



когда они пасли коров, той самой Терезы, которую в католическом монастыре в сущности уморили, замучили, над ней издевались монахини, плескали горячим супом, ее же сестры в этом участвовали, начальство заставляло ее делать явно непосильную работу, а потом... признали святой и восхваляют. Построили огромный храм и в прозрачной раке показывают ее косточку \*).

Или вот другая монахиня, подметая пол у пансионерки в комнате, декламирует :

В старинном замке скребутся мыши,  
В старинном замке, где много книг...

В одной руке у нее щетка, в другой совок.

Где каждый шорок так чутко слышен,  
В ливрее спит лакей старик.

Здесь монахиня сделала паузу и потом, махнув совком, чтобы подчеркнуть, продолжала :

В старинном замке больна царица,  
В подушках белых прозрачней льда...

У нее железная воля, говорили про эту монахиню. Она спит на досках. Никакого отопления. Ходит круглый год без чулок. И как поет в церкви ! Слыхали ? А ведь была замужем. Курила. Играла на гитаре. Сводила с ума. Была счастлива... И ушла : « была слишком счастлива ». Муж умолял остаться. Говорил, хочешь, уеду на время. Ты от меня отдохнешь. На коленях стоял... Теперь эта монахиня отличалась веселостью, отзывчивостью и радостностью. И, действительно, как пела в церкви ! Хвалила Творца.

---

\*) Так было в начале 50-х годов, потом, кажется, косточку убрали.

Англичанку-монахиню Головину было жалко. Для нас, русских, думал он, монашество понятно. За него вы или против — это дело другое. У нас разбойники становились монахами, цари принимали схиму. Половина русских склонна к мистике, — от Касьяна с Красивой Мечи до старца Федора Кузмича. Православие и православное монашество без мистики невозможны. А какого англичанке. С их природным реализмом, чувством собственного достоинства, с силой традиции... А поет она прекрасно. Вывезла ее, кажется, из Англии мать-игуменья. Обнаружила в ней «искание»...

После обеда подошла к Головину мать Василия: «Игуменья спрашивает, не могли бы вы вымыть Куню?» Это большую собаку игуменьи. Предложение Головину не понравилось. Может быть еще корову, — подумал он. — Я же в монастырь не поступил, а платный пансионер. Томи — это мой друг. У меня с ним «личные отношения». При чем тут Куня, здоровенная, лохматая, с которой я совсем не знаком, даже, кажется, ни разу не погладил... Тем не менее, согласился. «В порядке послушания, — сказал он сдержанно. — Удовольствия это мне не доставляет». Но монахине все равно, доставляет или не доставляет, для нее главное — игуменья. И привели Куню к Головину. Дали таз, в котором, вероятно, моются монахини, и мыло. Куня в таз не влезала. Было неудобно. Костюма у Головина подходящего не было. Блох на себя он пускать не хотел. Кое-как вымыл.

«Стали кусать блохи еще больше», — сообщили после Головину.

В конце ужина Головин заметил, как по коридору быстро, размашистыми шагами прошел высокий сын, а за ним маленькая Катя-Сесиль в белой кофточке, в синей юбке и белых чулочках.

Окончив ужин, Головин заглянул на кухню. Коля и Катя сидели и ужинали. Перед Колей была тарелка с огромной порцией салата.

— И ты все это съешь? — спросил Головин.

— А почему же нет ? — весело ответил Коля.  
Глаза Кати блестели.

— Мы пригнали коров, — сказал Коля отцу. — А ты знаешь, Катя прекрасно говорит по-русски. Все понимает.

— Да ? Это хорошо...

11

— Коля, поедem в Оксер. Старинный город ! Утром выедем, к обеду будем дома. Ну, а уроки, ради поездки, пропустим.

Коля неохотно согласился. А раньше, с каким бы удовольствием поехал с отцом, да еще в старинный город ! Любил это. И заниматься не надо, что тоже любил.

— Надо заранее взять билет на автобус. Возьмешь ?

— Да...

Через несколько минут возвращается, радостный :  
« Катя тоже едет ! »

Но, увы, радость его потухла : Катю монашки не пустили. « Мы ответственные, — говорят, — мало ли что может случиться ». Также нашли формулу...

И Коля вяло поехал. И была какая-то « розовая грусть » в его глазах. Шел за отцом, как автомат, хотя отец и старался развеселить и возбудить интерес...

Вернулись к обеду, который как нарочно запоздал.

Читали о Святом Антонии Римляnine. И Головин опять наслаждался старинным языком и наивностью « картин », своего рода художественными примитивами. Интересно, что Антоний Римлянин пострадал за православие от католиков, будучи верен семи Соборам. Он чудесным образом приплыл на камне « от Римския страны по Окиану морю и по реце Неве и езеру Ладожскому и по реце Волхове в верх вод » в Великий Новгород... Бывшу же утру (дательный самостоятель-

ный, — подумал Головин, — какая прелесть! Чем хуже аблятивуса абсолютуса? Его-то учили, а наш дательный нет!)... приидоша людие на брег реки и девишася, зряще камень... и человека на нем иностранна стояща и вопрошаху того: откуда есть; он же... не знаша бо языка Словенска токмо кланяшеся им...» Увидал потом купца-грека и узнал от него: «Яко град нарицается Великий Нов-град, людие же Российстии Славенского языка, а вера Православная Христианская церковь соборная Святая София, святитель (архиепископ) Никита, владеющий же градом есть благочестивый князь Мстислав Владимирович Мономахович... Преподобный возрадовася зело и благодари Бога, яко принесе его к православным Христианам». Потом призвал его к себе архиепископ Новгородский и видя в нем святого (даже ангела Божьего) — «паде пред преподобным на землю, прося благословения, преподобный же такожде пред святителем паде благословения прося... и лежаху оба на земли на мног час, слезами землю омочаще». Архиепископ Никита Новгородский был признан впоследствии святым...

Оставшийся в одиночестве Головин завел дружбу с восьмидесятилетней Бабулей. Она была интересным человеком. У нее сын, в этом же селе, богатый фермер, но она не хотела с ним жить: не ладила с невесткой, по ее мнению, бессердечной женщиной, думающей только о выгоде. Жила со своего огорода, небольшого винограда, своими фруктами, орехами. Хотела сохранить независимость. Читала местную газету. Природный ум, наблюдательность, одиночество, необходимость самой решать все дела, создали из нее какого-то самородка, философа-материалиста. Но это не мешало ей быть и доброй, и отзывчивой, и честной. Головин добродушно, как бы обмениваясь мнениями, вступал с ней в спор. Желая, чтобы силы были равны, он, словне размышляя вслух, подсказывал ей доводы в ее пользу, в защиту ее позиций.

Любопытно было смотреть на нее, Бабулю, с пыт-

ливыми серыми глазами, отзывчивую на шутку, готовую и поворчать, в постоянном труде, в постоянной заботе о своем огороде и саде и в наблюдении за жизнью около. И о политике посудит, и о цене на грецкие орехи узнает. Дядя-кот, По-Поль, который доставил ей большую неприятность, наделал пи-пи в салат, — она бранила его и грозилась не взять на будущее лето, шугала с огорода. Но когда Дядя-По-Поль поймал соню, гнев ее перешел на милость: соня, — зверек-грызун, поедает фрукты и орехи, наносит вред.

Философский спор начался с того, что Бабуля критически отозвалась о монастыре: «Все молятся, да молятся, разве так добрые дела делаются? Все о себе думают...» Она считала это никчемным. Головин с улыбкой ответил, что монахини заботятся о своей душе, но молятся и о всем мире. Бабуля считала, что со смертью прекращается наше существование. Если бы душа была бессмертна, она дала бы о себе знать, своим близким, — рассуждала Бабуля. Если бы существовала какая бы то ни была жизнь на том свете, мы бы об этом знали. Как наука шагнула! Сколько случаев почти смерти и потом возвращения к жизни, например, утопленников. Они «там» ничего не видали. Это было небытие. Кюрэ, конечно, говорят, уведяют, а что же им другое делать? На том стоят. Головин сказал, что когда ему делали операцию и усыпляли, он рассчитывал, надеялся, что что-нибудь почувствует, заметит, увидит, — ничего не было, просто попал в небытие, как провалился: был и не стало. Старушка была довольна доводом в ее пользу. Она бранила соседку: собаку не кормит, а в церковь бегают...

— Если Бог есть, — рассуждала она, — почему же мы умираем? Старые, больные. Страдаем. Старые, как гнилое дерево.

— Из-за первородного греха, — пытался возразить Головин. — Адам и Ева согрешили... — А сам думал: ну, какое ей дело до Адама и Евы, до первородного греха. И сказал вслух: — Конечно, для вас, неверую-

щей, Адам и Ева люди мифические и о первородном грехе вы не хотите слышать. Это не « научное » доказательство.

— Да, — сказала она. — Говорят: « bon Dieu », а что, Бог добр?

— Очень.

— Если Адам и Ева согрешили, а мы при чем? Какая логика? Мы не виноваты, что родились. Где же справедливость? Даже наше правительство не обвинило бы нас за преступления предков. — И она смотрела на Головина серыми скептическими умными глазами, — прямо Вольтер. Знаменитый Вольтер, который так повлиял на французское « я ».

— Вот вы человек умный, скажите откровенно, есть Бог? Видели вы его?

— Бог-то есть, но не такой, как рассказывают кюрэ, — сказал Головин.

— Ну вот, а вы Его видели? — повторила она, так как видимость и осязаемость Бога была для нее важна.

— Видеть-то я Его не видел, но... встречал.

Почти ужас отразился у Бабули на лице, дескать, уж не сошел ли он с ума...

— Как, встречали? — спросила она с опаской.

— Очень, очень редко... Встречал... в своей душе. Бабуля вздохнула с облегчением и улыбнулась.

— Мой милый господин. Души-то нет...

Вот спорщица! Никакой диалектике не училась...

— А как же тетя Маня? Человек образованный, а она верит и думает, что кюрэ говорят правду.

— О, она слишком хороша, доверчива, всему верит. Ее обмануть ничего не стоит...

— Да, но вы должны признать, что кюрэ учат: не убий, не прелюбо сотвори, не украдь. Приносят пользу.

— А родители? Тоже учат. И до кюрэ. А учившиеся у кюрэ прекрасно и воруют, и убивают. И сами кюрэ прелюбодействуют. Школа должна учить, государство. Украл, — придет жандарм...

— Оставим кюрэ. Они, конечно, люди. И это часто

забывают. Учат они, главным образом, добру. Вернемся к вопросу о бессмертии души.

— Чем же это доказывается? Кто ее видел?

— Да, например, ум же есть, а его не видно.

— Дурака за сто шагов видно. По поступкам.

— А разве вы не чувствуете у вас наличия души?

— Души? Нет! — твердо. — То, что я живу?

Да. Но живут и животные, и деревья.

— Если нет бессмертия души, зачем жить?

— Как зачем? Все живет. Если душа — это жизнь, я согласна. Душа у По-Поля, и у собаки, одинаково. Вот эта! — жест в сторону дома жадной соседки. — У нее, по-вашему, есть душа, а у собаки, которую она бьет и не кормит и которая ей с верой и любовью служит, души нет?

— Признаться, я-то думаю, что душа есть и у человека, и у собаки, и даже, может быть, у дерева... Разные души.

— Так-то лучше, а еще лучше, что души нет, а есть просто жизнь. Умер человек, умерла и душа.

— А зачем же жить?

— Родились, значит живи. Я не знаю, зачем, и никто не знает, это уж наверно. Кюрэ такие же люди, как и мы. И что же, жить, чтобы потом идти в ад? Как грозят кюрэ. Есть зачем?

— Да, — улыбнулся Головин. — Действительно, лучше умереть, совсем, чем вечно мучиться в аду. Но мы умереть совсем не можем, если бы и хотели.

— Еще как умрем! Вы говорите, есть Бог... И Бог добрый?

— Да, очень добрый, бесконечно добрый. Более добрый, чем думают кюрэ.

Бабуля насупилась и вдруг серые глаза ее из-под бровей сверкнули и лицо покраснело.

— А когда немцы в Орадуре заперли в церкви, в Божьем храме, всех, больше женщин и детей, согнали, заперли, обложили соломой, кругом поставили пулемет-

ты, чтобы никто не убежал, — и всех сожгли! Всех, кто был в деревне. А где же был Бог?

— У нас был писатель, большой писатель, верующий, тот ставит такой же вопрос. Он рассказал, как во время крепостного права один генерал-помещик затравил собаками до смерти мальчика семи лет, за то, что этот мальчик бросил камнем в его охотничью собаку и собака захромала. Затравил на глазах народа и матери.

— Что же он отвечает?

— Ничего.

— Ну, вот видите!

— Да, но он остался верующим. Он говорит, что мы, люди, не можем знать путей Господних, почему Бог это допустил, — но значит, так надо... Может быть мальчик будет святым в раю, а генерал в аду, — перешел на примитивные доводы Головин.

— Лучше бы мальчик жил.

— Я тоже так думаю.

— Кто верит, пусть верит, если это утешает. Но нельзя говорить, будто бы знают.

— Насильно нельзя, я согласен.

## 12

За обедом читали на тему: «Претерпевый до конца, спасен будет». Приводили пример преподобного Пимена Печерского, многоболезненного: «Лежаще во страдании своем двадесять лет». Преподобный Пимен сам не хотел выздоровления, хотя других исцелял. Перед смертью «внезапну здрав бысть многоболезненный». Простился с братией. Причастился. Поклонился гробу преподобного Антония, показал место в пещере, где его положить...

Две монашки пришли в гости к тете Мане. Из какого-то другого монастыря, где тетя Маня в свое время гостила. Зашли ее повидать. Принесли в подарок в коробочке сотовый мед и десяток яиц. У них были



полные, постные, туго подвязанные апостольниками лица и слащавая речь. Головин поклонился, но руки не подал, — кто их знает, другой монастырь, другие повадки. Тетя Маня готовила чай, а от подарка усиленно отказывалась: «Сами скушаете. А то на вашей монастырской пище». Тогда старшая речитативом и с поклоном: «Возьмите не ради нас грешных, а ради Иисуса Младенца, ради Николая Угодника, Мирликийского Чудотворца». Тетя Маня замолчала и от подарка больше не отказывалась. «Какая профанация!» — подумал Головин, откланялся и ушел.

Бабуля, ходившая около дома в своей лошадиной шляпе, косилась на монашек неодобрительно и считала их, в переводе на русский язык, дармоедками. «Не молитвой спастись, а делами, не о себе думать, а о других», — сказала она потом Головину. И они опять начали спор.

— Вы знаете, — сказал Головин, — что по кюре Бог сотворил наш мир в шесть дней, а в седьмой почил. Может быть Бог оставил нас самим себе, потому так много несправедливости в наше время. А эти шесть дней, на самом деле, многотысячелетние периоды развития земли, Так говорит наука...

Спор ни к чему не привел и Головин сказал наконец:

— Нет и не может быть доказательства о существовании Бога и бессмертия души. Это вопрос веры и часто вопрос интуиции. Многие великие и умнейшие люди считали и верили и почти знали, что Бог есть и душа бессмертна, а другие не чувствуют, отрицают. Посмотрите, как чудно устроен мир, он управляется незыблемыми законами. Откуда это?

— Мир устроен чудно? Зло повсюду. А про законы наука много узнала и еще узнает...

Четыре молодые ласточки сидели на проволоке у дома Головина. Уже большие, а родители все их кормят. Один птенчик поодаль ему больше доставалось...

Опять прошла мадам Рибо... Очаровательная женщина. Высокая, стройная, ловкая, скуластая, как русская. Глазки умненькие, поблескивают. Удивительно, как такая женщина в деревне... Наверно, тут около знакомые у нее. Часто проходит. «Как поживаете?» — обменялись. До чего улыбка хороша. Уж не предложить ли ей посмотреть, как я живу? А что от нее супом пахнет, так что ж? Суп-то надо варить: сам, небось, ешь. Идет, словно вся играет. Словно музыка в ней по всему телу, под сурдинку, расплывается. А ходит что-то часто... И к кому? Дальше, кажется, никто не живет...

Лето было хорошее. Головин поднимался на горку и там, за одичавшим садом, принимал солнечные ванны. Когда проходил через клеверное поле, хотя и была тропинка, ему все казалось, что ходить тут нельзя, что за ним наблюдают и сердятся. Люди в селе были неприязненные.

Пошел как-то вечером. И увидел: Катя и Коля сидели на одеяле на склоне большого холма. Около паслись козы. Какая-нибудь из коз жует, бородой помахивает и на них смотрит, — умная бестия! А потом опять обирает листья с колючей ежевики. С холма прекрасный вид. Медленно, тихо закатывается солнце, краснеет небо у горизонта. Начинает мутнеть долина, теряются формы. Кое-где поднимается в селе синеватый дымок — готовят ужин. Такой мир! Чего еще больше! Так жить! На расстеленном одеяле вдвоем, при закатном солнце, на лоне природы. Козы будут давать молоко. Картофель в огороде, фрукты в саду.

Когда Коля вернулся, сказал отцу: «Ведь можно, чтобы один ребенок был православным, а другой католиком?» (Катя-Сесиль была католичкой).

— Можно, — с легкой грустью сказал отец. — Но ведь лучше, чтобы оба были православными...

Высокий, стройный голубоглазый блондин шел навстречу и уже издали радостно, но сдержанно улыбался. Юноша может быть прекрасен, не хуже девушки. А влюбленный юноша? С этими особенными, «розовыми» глазами, с неловкостью, несмелостью, полной грации, словно несет он что-то и боится расплескать?

Неужели ему только шестнадцать лет? — думала она... Этот рост, эта ласковая мужественность взгляда, прямого, открытого, без всякой задней мысли. И с какой изысканной предупредительностью и уважением относился он к ней. Кто его научил? Откуда это у него? И неподдельно, и бескорыстно. Никогда не встречала и даже не думала, что так может быть... Она вспоминала товарищей по школе, с их грубыми шутками и намеками. Попытки «воспользоваться случаем». А тут сколько раз она была одна с Колей, и сколько было «случаев». Была лишь подчеркнутая деликатность и ни тени грубости. «Я даже себя стала больше ценить. Он влюблен, вероятно. А я?»

Нельзя сказать, чтобы население относилось с симпатией и доброжелательностью к монастырю. Скорее наоборот. Это чувствовалось и по взглядам, которые бросали жители, когда монашка гнала своих двух коров, или Алексей Петрович своих коз, да и по тому, как встречали они хотя бы Головина, причисляя его к монастырю. Не было прямой невежливости, но не было и приветливости. Одна мадам Рибо сияла на этом фоне, как звезда. Да вот Бабуля, эта восьмидесятилетняя старуха-вольтерьянка и поклонница Декарта. Головин спросил монахинь: почему вас здесь словно не любят? Объяснение: по смерти владелицы дома и земли, местные жители рассчитывали все купить себе по дешевке, а вышло по воле умершей — все отошло монастырю. Сказывалась, наверно, и присущая французу ксено-

фобия. В лавчонках иностранца готовы ободрать. Зашел Головин купить тесемки-шнурки белые, для туфель Коли, — не моргнув глазом, взяла сто франков, а им цена пять.

Отпуск подходил к концу. Удивляло множество ласточек, — а воробьев нету. На главной площади огромная церковная крыша вся усеяна ласточками. Их тысячи, сидели рядком.

Вечер. Опять один. И одиноко. Уже отужинали, а «этот» (сын) где-то гуляет. Забросил. Наверно с ней. Немного погулять, что ли, самому. Два ската лощины. Ближний освещен заходящим солнцем. Жизнь готовится к покою, сну. Ниже по другой дороге показались козы, быстро топотком идут, а за ними, тоже быстро, Катя — маленькая, широкими шагами. Деловито. Даже хворостина в руке. Коли не было. Вдруг сзади, какими-то гигантскими шагами, полупрыжками через кусты — Коля вдогонку. Огромный Коля. Выражение лица, глаз — шалое. Молодой парень, только что женившийся. А она — маленькая молодуха, в сознании своей женской власти. На закате солнца гнали скотину домой, шли скорей к очагу, к сладкому сну. А направо — монахиня коров гнала верхом по гребню. Повернула раньше их и наперерез по сокращенной дороге... На фоне темнеющего неба две коровы и монахиня были, как существа нереальные, может, и куда-то не туда идущие.

— Почему у вас нет иконы преподобного Сергия?  
— почти строго спросил Головин после обеда мать Василию.

— Как нет? Есть! На столбе.

И повела показывать. По дороге Головин ворчливо говорил:

— Вот нас заставляли учить про неудачных царей и цариц, а такому великому национальному герою и великому святому, как преподобный Сергей, ему Платонов отвел несколько строчек. Слава Богу, что вспом-

нил. А роль его важнее роли Дмитрия Донского... А по закону Божию как преподавали? Мы учили тексты наизусть. Например, вездесущие: «Аще пойду... аще сниду во ад...» Разве это доказательство вездесущия, например, для неверующего? — он подумал о Бабуле. — Скажет: «сами написали»... Мой сын, в известный момент, должен был знать двадцать молитв наизусть. У него плохая память. Как бился! А теперь он Отче наш, наверно, забыл. Помню, когда он проходил литургию, то в учебнике было плохо написано, таким непонятным языком, что я ему своими словами написал. Во время урока он это просматривал, а батюшка его и поймал, думая, что он читает постороннее. Просмотрел мой текст и вставил: «сугубую ектению». Ну, посудите сами, что для мальчика эта «сугубая ектения»? Разве так преподают закон Божий. Литургия — это живая мистерия. Надо дать картину... А вы думаете, объяснили ему разницу между православием и католичеством, не только по форме, но и по духу? Знаете, в этой книжке, по литургии, сто раз было сказано, что надо благодарить Бога за нашу жизнь, за все. Чуть ли не униженно, рабски благодарить. За что? — спросит мальчик. Благодарить, что он родился? Да еще в эмиграции, где нам так тяжело живется, где мы люди второго сорта? А вот про преподобного Сергия ему ничего не рассказали. Объяснили ли ему толком Заповеди Блаженства? Про любящего и всепрощающего Христа? Про духовный мир вообще? Про легенду «Великого инквизитора» Достоевского? Надо, чтобы в душу запало. Надо перестроить мальчика на духовный мир, на принципы, на долг, на служение добру.

Они вошли в церковь, монахиня показала на колонке, подпирающей потолок, маленькую иконку преподобного Сергия. Плохо и бедно нарисованную. Головин помолчал, а потом сказал:

— Это самый великий русский святой. У вас есть его житие и все, что про него?

— Есть, конечно.

— Дайте мне, пожалуйста, почитать, хотя я и знаю. И он унес все, что дала ему мать Василия.

Было у Головина к преподобному Сергию особое, сыновнее чувство. В детской, одновременно спальне матери, была большая, в рост, икона Николая Угодника (венчик украшен камнями) — смотрел Николай Угодник за детьми не без строгости. Куда ни пойдешь, смотрит. Испытывали дети: забивались в дальний угол, становились наискось — все равно смотрел Николай Угодник со строгостью и даже мешал баловаться. А в главном храме, посвященном преподобному Сергию, тоже во весь рост, была у левого клироса икона Радонежского Святителя. Преподобный Сергей смотрел без всякого осуждения. Попросить его можно было о чем угодно, он не рассердится. И мальчик просил, иногда о совсем невероятном, открывая свои детские, иногда фантастические желания. Он считал его наиболее добрым. Велика была слава Николая Угодника в России, но когда у обедни в кадильном дыму, в косых лучах солнца, мальчик видел иконы Спасителя, Божьей Матери и преподобного Сергия, казалось ему, что живут Они вместе в необыкновенной дружбе и что «он», преподобный Сергей, не хуже ангела, и отдавал мальчик предпочтению перед другими святыми своему любимцу. И ушел он в жизнь с этой любовью. И хотя вера его поблекла, эта любовь осталась. И теперь в монастыре детские чувства обновились и потому-то он стал искать икону преподобного Сергия и не нашел...

Явно брошенный сыном, которого он очень любил и которого, считал, надо еще продолжать воспитывать и формировать, — «потерю» сына Головин переносил очень тяжело, — в невольной грусти он не знал, куда себя деть. Конечно, были: тетя Маня, Бабуля, собачка Томи. Но у тети Мани и Бабули был собственный мирок, женский и сентиментальный. К ним хорошо прийти в гости на двадцать минут, и только. Собачка Томи его утешала, но «проблемы» не разрешала. Монастырь жил своим замкнутым миром. Пожилые дамы-пансио-

нерки судачили в саду позади дома. Что общего? Осталась церковь. В Париже он ходил в церковь редко, но в общем с церковью никогда не порывал, — теперь стал ходить чаще. Там было хорошо думать. Там он витал по мирозданию, терял как бы часть своего грубого, телесного «я». И казалось ему иногда, что ему удавалось постигать, схватывать вещи, которые нормально умом не возьмешь, как бы прорывая толщу нашего человеческого земного, поневоле ограниченного. И моментами это самое «мироздание», как откровение, принимало у него образ гармонического целого, куда стройно умещалось все: и наше жалкое, уж очень микроскопическое «я» со всеми его проблемами, и добро, и зло, и весь мир с его законами. Головин, стоя в церкви, даже улыбался, восхищенный этой картиной гармоничного замечательного целого, где даже наши страдания, несправедливости помещались, находили место («оправдание»), как мазок краски в большой и прекрасной картине. Потом экстаз проходил и он спускался на землю...

Головин нес под мышкой книжки о жизни преподобного Сергия, чтобы почитать «еще раз». Он думал: значение преподобного Сергия Радонежского можно сравнить со значением... Пушкина в русской литературе.

В маленькой своей комнатке с низким окном он сел и думал о своем детстве. Стал читать. Он не только читал, но и видел, представлял картинно... Если Россия могла дать такого святого, она не может погибнуть. Словно страдания народа за долгие годы татарского ига мистическим путем породили этого святого, как Светоч и Символ своего возрождения и жизни. Преподобный Сергей официально не был даже канонизирован. Его святость была настолько очевидна, что это казалось не нужным и было уже «поздно». Пошло паломничество, служили молебны, стали писать его житие, начались чудеса. Народ, ученики, власти — все признавали его святым еще при жизни...

Монгольское завоевание было разгромом не только государственной и культурной жизни, но и духовной — разорение и одичание. Хотя Киево-Печерский монастырь потом и восстановили, но он остался в упадке, как и вообще святость. Это преподобный Сергей поднял упавшее знамя св. Антония и св. Феодосия Печерских. Это от него потом пойдут лучами ряды святых, храмов, монастырей, скитов, пустынь. И он, после Бориса и Глеба, мощи которых при нашествии татар исчезли, — покровитель России. Провидец, ангеловидец... Не только ангеловидец: ангел сослужил ему за литургией. Высота мистической силы преподобного Сергея еще недостаточно понята специалистами, да вероятно и не может быть понята. Недаром он сам себя посвятил, от утробы матери, Святой Троице, догмату, мистика и понимание которого мало доступны. Что еще замечательно — житие св. Сергея начало составляться уже при его жизни, настолько святость его была очевидна, и непосредственно после смерти. Житие его носит характер настолько подлинный, что оно лишено возможных прикрас или влияний других житий, образцов. Оно составлено его учеником Епифанием Премудрым. И если изображение духовной жизни преподобного Сергея Епифанию часто не под силу, то он дал точный бытовой портрет, сквозь который виден внутренний незримый свет.

Св. Сергей не имел учителя. Уйдя от мира в двадцать лет, Варфоломей, еще не инок, стал пустынножителем. (Правда, медведь навещал его каждый день, приходя за укрусом). Но «мир» пришел за ним, не смотря на трудность жития. Когда пришли к нему первые ученики, он говорил им: «Аз бо господие и братия хотел есмь един жити... и тако скончатися... (но) да будет воля Господня». «Худые ризы» его и книги на бересте, лучины вместо свечей — известны.

Скромность преподобного Сергея изумительна: он сначала отказывается от священства, потом от игуменства, считая себя недостойным. Сам патриарх Царе-



градский предлагает ему устроить « общее житие », чем смутил его смирение. Митрополит Алексей Московский перед кончиной хотел избрать его своим преемником, но от этого преподобный Сергей категорически отказался.

Воскресив мертвого ребенка, преподобный Сергей уверял отца, что тому только « мнилось », что ребенок был мертв. « Прельстися еси о человеце и не веси, что глаголеши... Прежде бо общего воскресения не можно есть ожити никому же ». Когда, после ропота монахов на отсутствие питьевой воды, по молитве преподобного Сергея появляется источник, он запрещает называть источник Сергиевым: « Не бо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным ».

Таинственная глубина св. Сергея подчеркивается необыкновенными, неслыханными, во всяком случае на Руси, видениями. Однажды два ученика его (Исаакий и другой) во время литургии, когда преподобному Сергию сослужили два священника, увидели четвертого служащего, « светоносного мужа в блестящих ризах ». Настойчиво после они стали расспрашивать. И ответил им преподобный: « О, чадо любима, аще Господь Бог вам откры, аз ли могу утаити? Его же видите — ангел Господень есть, не токмо днесь, но и всегда посещением Божиим служащу ми недостойному с ним, вы же его же видесте, никому же поведайте, дондеже есмь в жизни сей ». Или замечательное явление Богородицы, первому из русских святых. Преподобный Сергей заранее знал об этом; с ним в келье был его ученик Михей — и преподобный Сергей предупреждает его: « Чадо, трезвься и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам ». Послышался голос: « Се Пречистая грядет ». Святой заторопился из кельи в сени. И великий свет осенил св. Сергея, « Паче солнца сияющего », и видит он Пречистую с двумя апостолами: Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. Пал ниц святой. Пречистая же своими руками коснулась его и сказала: « Не ужа-

саясь, избранник мой, Я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках и об обители и по отшествии твоём ко Господу неотлучно буду от обители твоей »... Ученик св. Сергия лежал от страха, как мертвый (« дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения, — говорил он, когда св. Сергий его поднял). Сам преподобный Сергий не мог ничего отвечать, только лицо его « цвело от радости »...

Исаакий просит у преподобного Сергия благословения на вечное молчание, и когда Сергий благословлял его, то « великий пламень изшедше от руку и окружил всего Исаакия »... Когда служил св. Сергий литургию, то Симон рассказывал, что видал « огонь ходящ по жертвеннику, осеняще алтарь », а когда святой « хотя причастится », тогда « Божественный огонь свиться, яко некая плащаница и вниде в святой потирь и тако преподобный причастися ».

Каждый раз, когда Головин читал место, как ангел сослужил св. Сергию, его охватывала жуть, как если бы перед ним приоткрывалась завеса перед огромным неведомым. А в ангелов Головин не верил. Чем же объяснить, — думал, — это состояние жути? Неужели существуют ангелы? Жуть, как перед пропастью, жуть, как перед высью, моя жуть, как ощущение правды... И другое место жития тоже очень волновало его — посещение Богородицы. Рассказ очевидца и свидетеля. И с такой простотой.

Головину всегда казалось непонятным, как не разрушили, не осквернили большевики Троице-Сергиевскую лавру, как осквернили они Киево-Печерскую (а ведь какую святыню!). « Обитель твоя не погибнет » — и не погибла, а устроили « заповедник ».

Патриот, преподобный Сергий ездил к Рязанскому князю Олегу, чтобы склонить его к примирению и союзу с великим князем Дмитрием. Он благословляет Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Войско русское и татарское стояло в нерешимости. Предвидел все преподобный Сергий. Подспевает скороход с посланием

от него : « Без всякого сомнения, господине, со дерзновением пойдй противу свирепства их, никакоже ужасайся, всяко поможет ти Бог ». И во время всей кровавой Куликовской битвы преподобный Сергей в монастыре указывал братии на перипетии боя, называл павших. Летопись говорит, что св. Сергей дал князю Димитрию двух иноков : Пересвета и Ослябю. Мы знаем, что оба они пали за веру и родину. Один в самой сечи, а другой в единоборстве с татарским богатырем. Выехал вперед огромный татарский богатырь в шлеме и латах, уверенный в своей силе и победе, и стал « похвалятися », бранить русских, вызывать на единоборство. Молчали, не двигались русские ряды... Но выехал навстречу Пересвет, инок, посланный преподобным Сергием для мученического венца. Вместо лат и шлема на нем черная схи́ма. Разошлись всадники и на всем скаку встретились и оба пали мертвыми. И начался бой. Димитрий Донской рубился, как простой воин, в белой рубахе. Нашли его потом, после боя, раненого в куче тел.

Головин читал житие, проникался им, « видел », и волна возвышенного духовного состояния наполнила его. Он думал, не одним умом, а вместе и сердцем. Комната наполнилась дуновением, пульсирующим и тихо дышащим, легким туманом, не холодным, а живым. Чувствовалось незримое присутствие. Головин прикрыл глаза, чтобы ничто ему не мешало, и стал дышать чаще и глубже. В этом странном состоянии он решил, что это... пришел преподобный Сергей. Пришел к нему, маленькому-большому, посетил его. Головин старался продлить это состояние общения и как бы сам вышел из своей оболочки, был вне своего тела. На лице появилась блаженная полуулыбка. Сколько так продолжалось ? Минуты ?.. И потом, затихая, кончилось. Тихо отплыл преподобный Сергей. Головин чувствовал себя очень уставшим, но даже « в твердом уме и в светлой памяти », считал возможным, что у него был преподобный Сергей, пришел утешить того

мальчика, который к нему обращался с собственными молитвами.

Август на исходе. Темнеет раньше. Коров и коз тоже пригнали раньше домой. Катя и Коля стали ужинать со всеми. И мать Василия регулярно после ужина возглашала: «Молодежь, гулять!» А те только этого и ждали, их сдувало, как ветром. Оставалось лишь мимолетное впечатление от широких шагов, — особенно это было комично у маленькой Кати, которая старалась идти, как длинноногий Коля. Возвращаться же они стали все позднее и позднее.

Шли из монастыря оживленно, со скрытой радостью, со скрытым стремлением, поскорей уйти от людей — свидетелей и соглядатаев, от домов, где нельзя притулиться. С дороги на тропинку, с тропинки в гущу. А как дальше? Снова на тропинку и снова в гущу. Чтоб рук не было видно. И чтоб за руку надо было держаться... А кому начинать? Мужчине надо, а мужчина мальчик, а женщина девушка. Хотелось уйти все дальше и дальше, словно там, наконец, и начнется. Словно читали они книгу из трех частей, первые две прочли, а третью никак начать не могут.

Среди полей, верстах в двух, на холме, на горке, — лесок еловый, — туда! Черная зелень елей. В безмолвии. Ковер хвои. Запах смолы. Едва тропинка. Попали, как в заколдованное царство. Жутко. А это не от страха. Нет. Может быть дальше будет избушка, огонек, — для них! И — заблудились! Ели обступили, как воины. «Придется заночевать?» И была в этих словах тайная сладость, — на хвое в лесу вдвоем прижавшись. И тайная мысль, совсем тайная... Искать ли дорогу-то? Благоразумие восторжествовало и дорогу нашли. А пришли так поздно, что ворота были закрыты. Коля на стенку влез, руку подал, Катю втянул и

на двор спустил. Пришел домой совсем поздно, глаза блестят. А на утро, от того ли, или от чего другого, когда время с отцом заниматься, в голове у Коли пусто. Ничего не держится... Не выдержал отец и сказал матери Василии: « Молодежь свою распустили, все позднее возвращаются, уж к одиннадцати подошли ». Та взволновалась: « Как же так! А что скажут люди? » Хватилась. До сих пор невдомек. Но мать Василия Кате и Коле откровенно высказала: « Что о монастыре подумают?... »

Сегодня в церкви к хору присоединилась худенькая женщина в платочке, известная общественная деятельница. « Можно, — говорит, — я с вами петь буду? » — смиренно так. « Можно, пожалуйста! » И запела она тонким бабьим голосом. И поет и поет и тянет? — все в разную. А монахини ничего поделать не могут. Видно, как англичанка ногти в ладонь впивает, все себе в вину ставит, что не может попасть в тон этой общественной деятельнице. Главная монахиня стала, как труба петь, — думает, заглушу! Не тут-то было! Тонкий бабий голос знай свое.

Вот и отъезд. После кофе Коля говорит отцу:

— Пап! Мы пойдем погулять в последний раз...

— Сегодня воскресенье, приходите потом в церковь. Тоже в последний раз. Да надо и собраться.

Коля конфузливо помялся.

— Сегодня, — не знаю. Постараюсь.

И они ушли вдвоем быстрыми шагами. Ушли, словно бежали. Катя была в новом сатиновом платье, синем в белую горошину, немножко неуклюжем в своей новизне, но милым в своей наивной претензии. « Пойдем к сторожке? » — сказал Коля с жалостливой улыбкой. Они вышли за деревню, прошли поля и вошли в лес. Дорога шла на взвалок. Сторожка необитаема. Перед ней полянка. Несколько сосен. Скамейка. Словно дом был приготовлен для влюбленных, а скамейка — чтобы сидели, обнявшись. А сосны — никому не скажут.

- Это для нас дом, — сказал Коля и покраснел.  
— Да... А вы мне будете писать?  
— Да, буду. Можно по-русски?  
— О, да... А я по-французски... иногда.

И они дали друг другу парижский адрес. Катя добавила: «Я уеду отсюда на неделю, потом вернусь и пробуду до конца сентября...» Они смотрели на птичку, которая деловито и торопливо бегала по стволу дерева то вверх, то вниз и что-то клевала, выискивала. Разговор не очень вязался, но чувства сами говорили. Пора идти. Коля встал первый и подал руку, чтобы помочь, и они посмотрели друг на друга в нерешимости и пошли так дальше, держась за руки. Как дети. Дорога возвращалась вниз, через поля в деревню. К людям. К обычной жизни. К расставанию. У опушки они остановились, посмотрели друг на друга, порозовели, — прильнули и поцеловались, отчего еще больше покраснели. Коли, при его большом росте, надо было сильно нагнуться. На него пахло ароматом волос, губ коснулось что-то тепло-прохладное, а рука обняла пышный синий сатин в горошину, под которым что-то твердоватое, маленькое и тщедушное. Это был скорее символический поцеуй, но значение его было больше, крепче, выше, духовнее, чем поцелуй, полный страсти.

Катя и Коля еще застали службу в церкви. Коля вошел и встал рядом с отцом. Тот на него чуть покосился. Минут через пять в церковь пришла подпудренная Катя, стала в темном углу у монашек и перекрестилась по-католически... Служба, конечно, продолжалась. У Престола творилась мистерия. Величественно-грозно стояла игуменья. В открытые дверь и маленькое окошко косым столбом сверху вниз врвался свет яркого дня и доходил только до половины сарая-церкви. Свет радовал. Все должны были проходить через него. И он словно всем напоминал, что если есть ад, то есть и рай, и звал вверх по этому столбу света к ясному небу. У двери лежала лохматая собачка. Сумасшедший ходил по саду и фигура его мелькала, видна была в

другое окно. Он думал, думал может быть об очень значительном. Потом и он вошел в церковь и напомнил невольно своей черной рубашкой, лохматыми волосами и скуластым лицом — Максима Горького.

У столба с иконками стояла очень сгорбленная, необыкновенно сгорбленная старая монахиня Еннафа. На лице незлобие, легкое блаженство, легкое юродство. Так ее и считали, — что с нее взять? Серые глаза тихо сияли. Не это ли и есть свет Фаворский? — думал Головин. Она редко крестится. Для нее церковь — часть мира Божьего. Может быть, ступенькой повыше. Здесь с большой легкостью переходит она душой в небесную высь, в ту высь, где летают ангелы. И однажды подойдет к ней монахиня и скажет: «Еннафа, служба кончилась, а ты все стоишь». Ан, — это стоит одно тело, а душа Еннафы осталась с ангелами.

Головин стоял близко от Еннафы, не двигался, словно задумался. Только тихо головой покачивал (и то мысленно, — об этой жизни скорбел, а все же привязан).

*И вдруг он почувствовал, почти увидел, что завитала душа Еннафы в небе мистическом, оставляя здесь, в церкви, свое тело. И встретила там душа с Серафимами, разговор вела без слов с самим Богом. Защищенный ее светом Фаворским, — оторвался и он, стал витать на низах Господних. Тяжела была душа его и склонна к растворению, но что помогло ему за ней следовать — что алкал он и жаждал правду, и всю жизнь скрыто юродствовал. Перестало время быть временем и наполнило душу блаженство...*

Кто-то тронул его за руку, — он очутился опять на полу, на земле, хоть и в церкви, ощущая себя, точно в муках рожденный. Монахиня тихо сказала: «От игуменьи, — можете сесть». Не хотел послушаться, сел..

После службы игуменья с Головиным, на виду у всех монахинь и всего народа, прохаживалась и разговаривала. «Трудно русские религиозные книги перево-

доть на английский. В английском слов не хватает... Главное, чтобы наши дети остались православными... Хотели мы устроить убежище для стариков и старух, — не разрешили, у нас, говорят, свои есть. Так мы на наших старух ничего не получаем... Официально монастырь нельзя было организовать, пришлось зарегистрироваться, как общество »...

За обедом читали про Тверского игумена Савву. Строг был. « Овогда жезлом бияше, овогда и в затвор посылаше, бьяша же жесток егда потреба, и милостив егда подобаше ».

Обед еще не кончился, а Головиным надо было уходить. Встали и простились общим поклоном. Мать Василия вышла за ними в коридор: « Храни вас Господь, — говорила, — храни вас Господь ! » И с крыльца потом вслед крестила. Коля остался ее любимцем до конца. Максим Петрович, ненормальный, помог донести вещи и потом стоял рядом с Головиным и разговаривал с ним дружелюбно. « Почему он ко мне чувствует симпатию » — недоумевал Головин.

Автобус был Рибо. Тут же была и его жена. Она крепко пожала руку и очаровательно улыбнулась, а муж был мрачен и руку подал « тютюком ».

— Бываете в Париже? — спросил ее Головин.

— Нет, — сказала она и взглянула на мужа...

В эти дни председатель Совета министров Франции сказал рабочим « нет »... « Не хочу с вами разговаривать, пока не станете на работу ». « Жизнь очень вздорожала, — говорили ему. — Вы, парламентарии, себе прибавили... Право забастовки закреплено за нами конституцией »... « Нет ». И тогда все забастовало: почта, железные дороги, газ, электричество, заводы. Франция теряла сотни миллиардов. Бедные туристы в шортах метались по вокзалам, гаражам, ища выхода из положения, в которое они попали.

Головиным тоже надо было добираться домой « собственными средствами ». Тете Мане тоже. Обра-



тились к Рибо. « Наберите, — говорит, — двадцать человек, я отвезу вас на автобусе ». Как набрать ?

Набрал, конечно, он сам. Появилось четырнадцать, потом восемнадцать, потом двадцать, потом двадцать один, потом несколько детей на коленях, потом приставные стулья, одна собака, три кошки... Ехали шесть с половиной часов, вместо двух с половиной. Лопнула шина : « Лопнула ! » — сказал Рибо спокойно. Поставили запасное колесо, все толклись, помогали. Через некоторое время опять : « Лопнула ! » — а запасного колеса уже не было. Тетя Маня говорила, что Рибо смущен. Остановились в маленькой деревне, пришлось долго ждать. Кто сидел на траве, один спал, другие разбрелись. Два котенка пришли и стали играть. Сосед справа дважды ходил пить вино, вернулся навеселе. Наконец, колесо прикатили. Опять помогали. Поехали. Сосед справа говорил Головину в правое ухо, тетя Маня в левое. Две корзинки с ее котами подозрительный выпускали дух. Старый кот По-Поль-Дядя кричал мяу-мяу-мяу и старался высунуть голову.

Тетя Маня говорила в левое ухо, француз в правое, кот мяу-мяу. Налево Головин отвечал : да, да, нет, не думаю, вы думаете ? Направо : Ah, oui ! Non ! Vous sroyez ? А коту изредка и незаметно сухим ударом давал по корзинке.

— Да, да ! Нет, нет ! — раздраженно, не выдержав, сказал француз, желая сохранить слушателя для себя одного.

— Ах, вы говорите по-русски, — с восторженным удивлением спросила тетя Маня. Мир восстановился и все началось снова.

Приехали в Париж ночью, насилу нашли такси. Много вещей и не всякий брал. Надо было дать вперед большие чаевые.

Коля в Париже писал письма и получал письма. Продолговатый конверт, отчетливо написанный адрес, крупным женским почерком. Тщательно выведена фамилия, трудная для французов. Отвечал — писал дол-

го. И сидел потом в прострации. А переекзаменовки надо сдавать. И сколько раз отец заставлял: книга раскрыта, а глаза блуждают, а душа где-то в том далеком лесу из елей, когда заблудились, то у озер, когда пробирались через гущу, то совсем в глухом лесу, где можно было встретить разбойника: о, как бы он защищал ее!

Наконец, переекзаменовки сданы. До начала занятий осталось около двух недель. Письма все чаще. Она еще там.

— Пап, я хочу поехать в монастырь? — Отец молчит. Сын принимает скорее за согласие. Радует, пишет, что может быть приедет. Она ему: «Приезжай, если отец разрешит»... А отец пишет матери Василии: обращаюсь к вам с деликатной просьбой. Коля собирается приехать в монастырь, повидать Катю-Сесиль и пробыть с неделю. Он влюблен. И если они проведут эти дни вместе, да еще одни, он окончательно влюбится и что будет с ученьем? Он и так отстал...

Головин не добавил, только про себя подумал: вы же, мать Василия, способствовали всей этой истории со своим — «молодежь, гулять!»

Через два дня телеграмма: приехать нельзя. А там и письмо от матери Василии на голубой красивой бумаге: вы правы, и мать игуменья одобрила.

У бедного Коли мрак на душе. Ходит сам не свой. Отцу грустно и даже стыдно, что устроил он подвох молодым и чистым в их прекрасном чувстве. Катю он вполне оценил, а Колю любил вероятно выше меры. А жизнь требовала свое.

В Париже потом они встречались, но Париж не лес со сторожкой, не целебный источник, и они не одни вдвоем на холме при закате солнца. И самое главное, наверно, еще не сказали.

Ученье Коли шло плохо.

Сидел раз отец в Колиной комнате за его письменным столом, а Коля на своей кровати. Видит Го-

ловин, что промокашка Колиного бювара грязная и старая.

— Тебе надо переменить промокашку, Коля, смотри, какая она грязная.

— А какое тебе дело! Это мой бювар! — неожиданно грубым тоном.

— Что с тобой? Почему ты так отвечаешь?

— Мне такой бювар нравится! Это мое место!

Слово за слово, стал грубить еще больше. Удивился отец.

Пришел Головин после и сел за Колин стол. Ему показалось, что тут что-то не так. Он рассмотрел бювар. Промокашка исписана карандашом, частью стерто, плохо видно. Нагнулся и видит:

«Божья Мать, дорогая, устрой так, чтобы мне жениться на Кате»... Молитва длинная, собственного сочинения и четыре раза повторена. Так вот почему он был так груб, когда отец хотел бювар переменить.

Долго потом, с перипетиями, рассасывалась эта первая любовь. И отголоски перипетий доходили до Головина. Будто бы стыдили Катю: что вы в нем нашли? Ему только шестнадцать. И будто бы она отвечает: «Да, но он умеет ухаживать за дамами. И потом: он только притворяется французом, а сам русский. А я хотела бы выйти замуж за русского».

Катю и Колю Головину было искренне жаль, до томящей боли. Она была бы ему верной и нужной подругой. У них начиналась мистерия любви, когда душа и тело по-настоящему слиты. Повторится ли такая же мистерия у Коли еще когда-нибудь? Будет ли та же чистая радость от встречи с любимой женщиной? И ему самому пришлось разрушать их возможное счастье. Но что же, такова жизнь...

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение . . . . .	5
В Шато . . . . .	7
На ферме . . . . .	97
Прескрасная Марья Петровна . . . . .	136
Д-р Гертруда Фишер . . . . .	165
Умиравший лебедь . . . . .	184
У монастыря . . . . .	193



